Бермудский треугольник

Автор:
Юрий Бондарев

Бермудский треугольник

Юрий Васильевич Бондарев

Автор, Бондарев Юрий Васильевич, на основе на подлинных исторический событий, исследует и раскрывает их воздействие и влияние на формирование типа личности и качества жизни.

В романе «Бермудский треугольник» описываются драматические события в России в постсоветский период начала 1990-х годов, повествуется о сложной судьбе литературных героев, переживших крайние стрессовые ситуации на грани жизни и смерти и изменивших свои жизненные помыслы, цели и отношения в обществе.

Особенно ярко раскрываются нравственные позиции и мужество главного героя Андрея Демидова в противоречиях и отношениях его с деятелями системы власти и ее охранников, стремящихся любыми средствами лишить его всех материальных и духовных основ жизни.

В романе четко прослеживаются жизненные позиции автора.

Юрий Бондарев

Бермудский треугольник

© Ю. В. Бондарев, 2010

© Издательство ИТРК, 2010

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Часть первая

Глава первая

…И был тогда октябрь девяносто третьего года…

В провонявшем нечистой одеждой, табаком и потом милицейском УАЗе, оборудованном скамейками, их было пятеро.

Сначала их подвели к группе милиционеров, которые мельком оглядели всех и начали поочередно вталкивать в УАЗ небрежными толчками дубинок. Девушка с прозрачным лицом подростка споткнулась, влезая в машину, жалостно вскрикнула: «Что вы делаете? Вы же милиция! Как вам не стыдно!» И сопровождающий милиционер, плоскогрудый, с заносчивыми немигающими глазами, крикнул ей: «Давай, давай! Не то еще получишь, зеленая сучка! Молчи, пока дышишь! Всем молчать!»

Он победоносно уселся рядом с Андреем, обдавая сивушным дыханием, хищно выпячивая нижнюю челюсть. Он раздувал ноздри узенького, подобно спичке, носа, выражая обликом своим неприступный вид, а Андрея, все время помнившего дергающееся на земле тело казачонка, корежило нестерпимое желание ударить со всей силы по этому спичкоподобному носу, услышать вскрик, визг, стон, увидеть кровь на лице. Но у сопровождающего было оружие – непустая кобура, дубинка на коленях – уже в эти дни действовал приказ, разрешающий ОМОНу и милиции применять оружие.

– Почему молчать? Вы превышаете свои обязанности! – поднял надтреснутый голос мужчина измятого переутомленного вида, не отнимая от плеча испачканную в грязи руку. – Вы распоясались, как фашистские молодчики в Германии после поджога рейхстага! Вы понимаете, что творите? Вы избиваете и стреляете в свой народ! Вы… оглохли и ослепли!..

– Ма-алчать! Речи тут будешь еще толкать, кусок свинячий? Ельцина хотите сбросить? Заткни пасть, а то я тебе дубинку в горло засуну! – яростным басом, по оглушительной силе никак не соответствующим его плоской фигуре, заорал милиционер и даже привстал. – Ишь ты, говорун! Свободу захотели придушить? Бунт устроили?

– Я – депутат Моссовета. Я – неприкосновенное лицо, и вы, товарищ милиционер, не имеете права ни применять силу, ни кричать на меня! – возмущенно выговорил переутомленный мужчина, морщась и поглаживая опущенное плечо. – Вы дважды ударили меня палкой! Понимаете ли вы, что вы нанесли мне физическое… да, физическое увечье… вы повредили… мне ключицу. Надеетесь, вам не придется ответить перед законом?..

– Плевать хотел! Я за Ельцина таким, как ты, горло перегрызу! – опять оглушил барабанным басом плоскогрудый, и на его шее коричневыми веревками вздулись жилы.

– Депутат! Ишь ты, депутат! К власти волками рветесь? Не выйдет у вас! Хребты, как щепки, переломаем! Всех достанем! Нового Ленина на загривок посадить хотите?

– Смотри ты как… плевун и якобинец, – как бы между прочим бросил молодой парень с наблюдательно-смеющимися глазами, коротко постриженный, одетый в

спортивную нейлоновую куртку на молнии; весь вид его, открытая прямая шея и плечи говорили о здоровье, силе, о какой-то внутренней веселости, и Андрей хмуро посмотрел на него. Спортивный этот парень ответил ему подмигивающим взглядом и чуть присвистнул, очевидно, так приглашая его сбросить злую напряженность и малость расслабиться. Потом он произнес: – Ой-йой-йой, с какой стати капельки? – и обратился к сидящей справа от него девушке, подростку лет пятнадцати в джинсовом потертом костюме, съежившейся, как пойманная птица, – русая голова клонится на грудь, тонкие ноги, облепленные джинсами, некрепко сдвинуты, руки охватывают угловатые колени.

– Что вы, сударыня? – сказал парень. – Для какой надобности капельки? Не нужно дождичка. У меня чистый платок. Дать вам?

Она приподняла голову, постаралась наудачу улыбнуться, но получилась извиняющаяся гримаска на чутком легковерном лице, и Андрей увидел: маленькие бусинки слез светились на ресницах, отчего широкие лучистые глаза казались обмытыми дождем ромашками. Она ответила шепотом:

– Я боюсь милицию. Куда нас везут? В тюрьму? Нас могут посадить в тюрьму?

– Ни в коем случае. Это я вам ручаюсь. Скоро увидите маму. А вот – зачем вы пришли к Белому дому? – спросил он. – Надо ли?

Она вытерла слезинки согнутым пальцем.

– Мы с Олегом принесли бутерброды и пепси-колу. А какие-то люди в черных куртках стали всех избивать дубинками. У Олега вырвали пластиковый пакет и так ударили, что он упал и не мог встать. Я видела кровь на его виске. Я боюсь, боюсь, что его убили…

Она втянула ноздрями воздух, снова клоня голову. Парень сказал:

– Опять капельки? Не надо, девушка… Переживем.

– Господи, спаси и сохрани от живота, – послышалось тягостное, вперемежку со вздохами бормотание, и пожилой мужчина в стареньком плаще, с белым, как высушенная кость, лицом, вытянув морщинистую шею, страдальчески сплюнул

под ноги, как если бы его выворачивало рвотой. – Это я язву уговариваю, себе говорю… Язва, Господи спаси, разыгралась, – договорил он, обтирая позеленевший рот. – Двенадцатиперстная… так вот. Я пулеметчиком воевал… Ежели бы… Ежели бы со мной был родной мой ДП, я бы ни одного диска… я бы этих… я бы ни одного диска целым не оставил, – сказал он, отдышавшись. – Убийц убивать надо… Смерть за смерть. Как на войне…

– Ма-а-алчать, сучье отродье!

Плоскогрудый вскочил, стукнулся головой о потолок машины, выматерился, озлобляясь, взмахнул дубинкой.

– Это кто – убийцы? Кто? Вы – убийцы! Это ваши сучьи снайпера гробили милиционеров! Ишь ты, убийцы, ишь ты!

– Заблуждаешься, господин милиционер! Снайпера стреляли с крыши американского посольства, – сказал спортивный парень. – И с гостиницы «Украина». Стреляли ваши…

– Ма-алчать, говорю! – взревел плоскогрудый и, обнажая желтые зубы, ударил дубинкой по носку своего ботинка. – Последний раз предупреждаю! Глядите, умники, другую песнь запоете! Разговор другой будет!

– Молчим, молчим, – поднял руки парень, якобы покорно сдаваясь, и глянул на Андрея прежним подмигивающим взором. – Видал, как свирепо? Прямо леопард! Живьем съест.

Андрей не ответил, даже не кивнул, не усмехнулся, он пребывал в том состоянии, из которого не мог вырваться и прервать его. Он все слышал, все видел в этой милицейской машине, куда-то и зачем-то везущей их от горящего Дома Советов, и одновременно видел черных толстых удавов дыма, лениво ползущих вверх из окон по высоким стенам; видел танки, стреляющие с Калининского моста; разворачивающиеся, как жуки, БТРы возле баррикад и разбросанные тела убитых, неподалеку от которых кто-то кричал в мегафон: «Пленных не брать!», видел хаотичные пучки трасс, забрызганную кровью стену стадиона, где зло стучали автоматные очереди, а в скверике лежал на земле мальчик-казачонок, после каждого выстрела дергающийся в своей мучительной казни.

«Что сказал плоскогрудый дегенерат? Другую песнь запоете? Куда нас везут? И зачем? У этого плоскогрудого передние стальные зубы, интересно – может ли он перекусить проволоку? Ненавижу его орущий рот, его зубы…»

Когда их начали выталкивать из машины около каменного дома купеческого вида с парадным, в огороженном старым забором дворике, за которым шумели, сгибались под октябрьским ветром березы, отблескивали мокрые крыши соседних построек, напоминавших захолустную окраину Москвы, когда ввели в дом по темному коридору мимо покуривающих парней омоновцев и втолкнули в большую, заполненную милиционерами комнату, в тусклый осенний свет из трех окон, смешанный с электрическим светом, уже не было сомнений, куда их привезли. Пахнуло казарменной духотой, сивухой, кисловато-горчичным потом, ременной кожей. Сигаретный дым змеисто извивался вокруг яркой лампы, низко свисавшей с потолка в металлическом колпаке. Колпак срезал электрический свет, и лица некоторых милиционеров и трех-четырех омоновцев, стоявших у стены, оставались в полутени. Но выпукло было видно квадратное мясистое лицо, надутую, налезшую на воротник шею грузного капитана, горой сидевшего за столом, его мастерски начесанные с висков на массивную плешь волосы – скрупулезная эта прическа имела название у остряков «взять взаймы», отметил с тошнотной иронией Андрей. Вялые глаза капитана равнодушно выслушали краткий доклад плоскогрудого: «Оттуда, товарищ капитан, оказывали сопротивление», – и кругло перекатились с плоскогрудого на задержанных, его низкий голос произнес корябнувшую фальшивой приветливостью фразу:

– Почетно видеть у нас в гостях защитников героического Верховного Совета, поклон вам, красно-коричневые мятежники, но вот шампанского для встречи не приготовили! Сожалею. Виноват.

И он почтительным наклоном большой головы показал свой, волосок к волоску, начес, маскирующий широкую плешь. Милиционеры в разных концах комнаты зафыркали смехом, кто-то витиевато и ядовито выматерился, двое стриженоголовых молодых омоновцев в камуфляжных куртках заржали («Во дает капитан!»), и белокурый лейтенант милиции с розоватым, как у стыдливой девушки, лицом, с очень светлыми ресницами, какие бывают у голубоглазых людей, выросших на деревенском солнце, развязно ступая, подошел к задержанным и, выказывая чистые девичьи зубы, сказал:

– Всем предъявить документы. Начнем с вас, папаша. Ваш паспорт или удостоверение личности. – И он протянул руку, выпрямляя ладонь в ожидании документа, участливо спросил: – Что с плечом, папаша? Почему держитесь за плечо, папаша?

– Во-первых, я не папаша, товарищ лейтенант, а депутат Моссовета. Моя фамилия Мартьямов, – заявил переутомленного вида мужчина, отклоняя опущенное плечо, и не без оскорбленной доказательности достал из кармана красную книжечку с золотым тиснением. – Вот мой документ. Пожалуйста… Я не знаю, в какую милицию нас привезли и зачем привезли, – заговорил он уже тверже, глядя не на белокурого лейтенанта, а в направлении грузной глыбы капитана за столом. – Не ошибаюсь, я вижу: старший здесь вы, капитан, и я обращаюсь к вам с официальным запросом: на каком основании меня и всех нас привезли сюда? Должен вам сказать, милиция или, возможно, уголовники, наряженные в форму милиции, что я допускаю, зверски избивали демонстрацию у Дома Советов. И, как видите, мне повредили плечо… К слову сказать, доблестно постарался вот этот товарищ – сержант, кажется… – Мартьямов указал на плоскогрудого сержанта, сумрачно стоявшего у двери с дубинкой в руке. – Настоятельно прошу вас, товарищ капитан, разобраться… Задерживать нас не имели права. Никто из нас не преступил закон. Я требую как депутат разобраться в неправомочных действиях относительно нас…

– Он требует как депутат, вы слышали, коллеги? – заговорил скрипучим голосом капитан и, наигрывая несказанное почтение, пригласил невинными глазами удивиться вместе с ним и остальных милиционеров, охотно ответивших ему разрозненным хохотком. – Депутат уважаемый требует разобраться в неправомочных действиях милиции, не брезгует клеветой на нашу милицию, а сам безграмотно не знает, что был задержан в зоне чрезвычайного положения среди мятежников и убийц! Пусть знает депутат, что в районе баррикад снайперами и мятежниками убито двенадцать человек наших работников, и правоохранительные органы такое не забудут, – продолжал капитан с вразумляющей суровостью, начальственно двигая безволосыми бровями, и внезапно направил толстый палец на плоскогрудого сержанта. – Прудкин, где их задержал? У баррикад?

– В самой гуще! – выпустил на волю запертый бас сержант, напружинивая шею. – Ровно мухи подлые, окружали танки, не давали продвигаться! А этот самый… депутат агитировал и горланил на танкистов и подбивал всех… этих к сопротивлению, когда вез их! Предатель, по всему видно!

– Ты должен сказать, Прудкин: предатель России, – сонно внес поправку капитан. – Так вернее. Предают нас и требуют, чтобы всю Россию продали по дешевке, депутаты народные. Так, выходит, вы требуете от нас, гражданин депутат… Мартьямов, Мартынов… требуете, чтобы подчиненная милиция перед вами навытяжку под козырек, чтобы горячего чаю, черного кофе, коньяк подали с печеньем, чтобы все мы, одна семья, которых вы здесь видите, поблагодарили вас за зверское убийство наших братьев, наших товарищей? Ах вы, красно-коричневый змей-горыныч! Выходит, требуете? А? Требуете? А? Что с вами делать? А?

Сорвавшийся голос капитана срезал сонную замедленность, приобрел нечто отточенное, вползающее под кожу коварным острием, и Андрей, ощутивший какую-то минутную заминку в комнате, недоброе затишье среди милиционеров, увидел вблизи съеженную страхом слабенькую фигурку девушки в потертых джинсах и возле – враждебно омертвелое впалощекое лицо язвенника, увидел насмешливые глаза спортивного парня в куртке, показавшегося чуточку бледным и от этого неизмеримо молодым рядом с осунувшимся язвенником.

Пока говорил капитан, белокурый лейтенант не отходил от депутата, размеренно похлопывая удостоверением по ладони, неисчезающая улыбка его ослепляла мелочно-белыми зубами, но почему-то связывалась в сознании с замороженной улыбкой какого-то американского киноактера, и Андрей подумал тогда, что лейтенант знает подкупающее свойство собственной белозубости.

«Не могу понять, почему нас сюда привезли? Что они хотят?» – соображал Андрей, видя все отчетливо в этой казенной, с облезлыми стенами, комнате и еще пытаясь найти в квадратном лице капитана, роняющего фразы циничной издевки, в актерской внешности белокурого лейтенанта, в непринимающих взглядах милиционеров и омоновцев оттенок здравого смысла, но в переглядывании их не было сочувствия, накалялась враждебность. И ненависть и отчаяние, охватившие его там, у Дома Советов, не ослабевали в нем.

В минуту передышки, которая представлялась Андрею соломинкой возможного понимания, проник надорванный возмущением голос депутата:

– Вам не совестно? Как вы могли? Издеваетесь, товарищ капитан, не надо мной, а над московскими избирателями, которые меня выбрали. Я тоже им служу, а не себе… и не вам. Вы недостойно… порочите свое звание… После ваших высказываний вам бы следовало извиниться. Нельзя поверить, что вы… вы

офицер советской милиции…

Капитан медля провел пухлой ладонью по начесу «взаймы», положил чугунные локти на стол и с задумчивой ленцой, чувствительно поинтересовался:

– Тяжело головке? Пьян вдрабадан? Налакался? Что так осмелел?

– Я непьющий! – крикнул депутат. – Вы не имеете права!..

– Кустенко! – позвал капитан и пошевелил мощными плечами. – Внуши-ка гороховому депутату уважение к милиции. Вломи ему как следует! И чтоб красную агитацию не разводил, сукин сын, пьяница! Он думает, к теще на блины приехал! Научи его уважению, мать его за ногу! – И он, скосив мясистую щеку, притронулся к затылку.

– У меня от него давление поднимается!

В то же мгновение белокурый лейтенант равнодушно швырнул удостоверение депутату под ноги и, уже не улыбаясь, молниеносным прямым тычком ударил его, будто поршнем, в подбородок. Депутата отбросило назад, и, почти падая на спортивного парня, успевшего поддержать его за спину, он замычал, кровь изо рта потекла на нижнюю губу, он хотел что-то сказать или крикнуть, но тут же второй удар под самое горло свалил его с ног, и, защищая окровавленными пальцами шею, корчась, он хрипел на полу:

– Какая же вы милиция… палачи… кого же вы… кого же вы… Безумцы!..

Девушка в джинсах пронзительно завизжала, мужчина-язвенник, весь землисто-серый, выдохнул, как после долгого бега: «Да это никак зверье… христопродавцы милицейские!» И тотчас спортивный парень сделал два шага к столу, где широколицый капитан в рассеянности пожевывал крупными губами тлеющую сигарету, сказал не без призыва к миролюбию:

– Что-то не так, капитан. Жестоко вы. Ведь не менты тут, а милиция.

– Кто еще такой? Документы. Кустенко! Проверь у этого пидора документы, – не в полный голос скомандовал капитан. – Второй учитель нашелся из сучьего

гнезда! Тьфу ты, гад ползучий!

Он выплюнул изжеванную сигарету, и сейчас же белокурый лейтенант гибким движением гимнастического тела оказался за спиной спортивного парня, рванул его за плечо, повернул к себе и, обозначая образцовыми зубами улыбку, попросил:

– Если разрешите – документик, молодой человек, – и, взглянув сквозь белые деревенские ресницы на удостоверение, воскликнул с полурадостным неверием: – Ха! Вот так улов, капитан! Своя рыбина! Инспектор уголовного розыска! Серегин Владимир Павлович! Сказывается – наш! Старший лейтенант! Предатель из органов! Ну, падло, изменник, кому угрозыск продал? От кого получил деньгу? От нацмена Хасбулатова? От усатого Руцкого? Доллары или деревянные?

В комнате возникло нервозное движение, прокатился гул голосов, милиционеры и омоновцы разом оборотили взгляды на спортивного парня, ленивые глаза капитана зажглись всепроникающими огоньками:

– Изменник, паскуда? А?

– Подозреваю, лейтенант, что доллары или деревянные мог получить ты. Шесть баксов за час. Или крупнее обещали? – не обращая внимая на шум, ровно сказал спортивный парень, ничем не походивший в представлении Андрея на инспектора угрозыска. – Через край стараешься, офицер. Неужели знаешь, где правда? Расскажи, послушаю.

Кустенко, белокурый лейтенант, пренебрежительно бросил на пол удостоверение инспектора Серегина, с нажимом растер его каблуком, как плевок. Серегин сказал тихо:

– Все-таки – подыми его, мент.

– Оно тебе больше не понадобится. Шабаш, инспектор, проиграл!

– И все-таки подыми, говорю, мент.

– Да ты, курвина, наверняка наших на площади гробил! Сука! Предатель! Правду хочешь? Держи, инспектор… – выговорил Костенко и тем же прямым боксерским тычком ударил парня в лицо. – Нет, предатель, живым ты отсюда не выйдешь! Теперь ты не наш! – крикнул он, глухо смеясь, так же, как смеялись те, пятнистые в скверике, расстреливая казачонка.

То, что произошло в следующую минуту, было резким, неожиданным, разорвавшим что-то неразумное в сознании Андрея, и он увидел, как Серегин крутым взмахом захватил руки лейтенанта, притиснул его к себе, разворачивая спиной, заломив его руку с такой неистовостью, что тот, подломленно изгибаясь, матерясь, испустил нечеловеческий вопль, вмиг разрушающий и его невинную белокурость, и его белозубость, и его противоестественность речи воспитанного городом провинциального парня. И этот животный вопль, перемешанный с изощренным матом, этот крик боли лейтенанта в каком-то полоумии сместил, смешал, перевернул все в комнате – раздались другие крики, ругательства, команды, мстительные, злобные, взвившиеся голоса, сразу метнулись в одну сторону серые фигуры, камуфляжные куртки, столпились, затолкались вокруг лейтенанта и спортивного парня, над его головой засновали, взвивались и опускались кулаки, взлетала рубчатая рукоятка пистолета, зажатая в пальцах низенького, колючего, как еж, разъяренного милиционера, суетящегося хромовыми, совсем игрушечными, на высоких каблуках, сапожками, подпрыгивающего, норовящего ударить парня в лицо, которое в разводах крови стало неузнаваемо яростным, отрешенным, страшным лицом человека, понявшего, что его не пощадят.

Он пытался вырваться из облепившей его воющей толпы, разбрасывал нападающих локтями и коленями, влепливая удары в головы, в подбородки, в хрипящие рты, и кто-то из омоновцев истошно кричал: «Завалить его, завалить!» – и точно подбитая птица, пищала, взвизгивала, кусала себе руку девушка в джинсах, и мужчина-язвенник с суматошными вскриками «Что вы делаете, фашисты?» кинулся разнимать, а молоденький омоновец резким выбросом автомата в живот откинул его в сторону. Мужчина согнулся, охватил живот, со слезной натугой продохнул: «В язву ты меня, вошь мокроносая! Ах, щенок! Ты ж в сыны мне!..» – и задавил слова сиплым стоном. Молоденький омоновец бодливым козликом вплотную подскочил к нему, в перевозбужденном веселье ощерил мелкие зубы: «Ничего, пройдет, отец! Я тебя по-сыновьи вылечу», – и выпадом «коли!» вторично воткнул ствол автомата в живот мужчины. От этого удара у мужчины подломились ноги, он качнулся назад, сел на пол и, онемевши от боли, лишь открывал рот, хватал воздух, слезы застилали ему глаза, текли по морщинам щек.

Все это пронеслось перед Андреем с немыслимой быстротой, в то же время все смертельно врезалось в него, как если бы мчались последние минуты жизни в этой захолустной милиции, в этой комнате пыток. Спасения и милосердия не было нигде – ни там, у Дома Советов, ни здесь. И оглушающая мысль о всеобщем безумии, о всеобщей обреченности пришла к Андрею неотвержимо и ясно. Кричащая, хрипящая в озверелой жажде крови толпа серых кителей и камуфляжных курток смыкалась и размыкалась вокруг Серегина, отбрасываемая его мощными кулаками, его молниеносными разворотами; кто-то ударил его сзади в затылок прикладом автомата, а когда над его поваленным телом, тяжело хакая, хекая, как при рубке дров, сгрудилась толпа милиционеров и омоновцев, работая ногами, низкий голос капитана, набравший свинцовую властность, покрыл все звуки в комнате:

– Наручники на суку! Мордой в пол! Наручники!

– Дай его мне, капитан! Я сам с ним! Я из него сам всю мочу выпущу! В угрозыск на небеса отправлю! Мой он, курвина, мой!.. – надрывно вопил Кустенко, по-звериному, отталкивая всех от лежащего лицом вниз на полу Серегина, рывками завел ему руки и защелкнул наручники. – Теперь ты у меня закукарекаешь, инспектор! Мочой и говном изойдешь!

И с остервенением и оттяжкой врезал носком ботинка под ребра Серегина, не издавшего ни стона, ни вскрика, только сильнее вдавившегося в пол, извилистая струйка крови стремительно потекла из угла его учащенно дышащего рта на подбородок и шею. Второй удар ногой был опять рассчитан под ребра, от силы удара Серегин вздернул голову, плюя розовыми сгустками, сделал попытку приподняться, взглянуть избоку заплывшими кровью глазами на Кустенко. Изуродованное лицо Серегина усмехалось какой-то еще никогда не виданной Андреем усмешкой торжествующего презрения, потом глаза дрогнули, точно вспомнили что-то, поискали в комнате, быть может, силились найти и, как давеча, подмигнуть ему, Андрею. И Андрей близко увидел взбешенное, со следами крови под носом лицо лейтенанта Кустенко, кричавшего: «Хребет переломаю!» – и выхватившего дубинку у плоскогрудого сержанта, притоптывающего, как в пляске, возле двери, оживившегося начатой расправой. Андрей успел уловить нацеленные взоры омоновцев и милиционеров, жадно наблюдающих избиение, вытянутую ежиную мордочку низенького, не выпускающего из руки пистолет, большое, залитое нездоровым жиром лицо тучного капитана, не вылезавшего из-за стола, – и он вдруг внятно и окончательно понял, что милиция, куда их привезли, исчерпывала последнюю

надежду на возможность ошибки той команды на площади: «Всех на поражение, пленных не брать».

«Неужели краешком веры я надеялся, что здесь что-то изменится? Что проверят документы и всех отпустят? Поверил, глупец!»

И опаляющим до горячей испарины туманом обдало Андрея, и ненависть к этой пыточной милицейской комнате, ко всем этим лицам, к их хищным голосам, в которых было требование крови и боли, и непереносимая гадливость к своей трусливой запинке в момент первого сопротивления инспектора Серегина, когда оскаленной волчьей стаей серые фигуры и камуфляжные куртки бросились к нему, а лейтенант Кустенко вопил страждущим воплем: «Всю мочу до капли из него выпущу!», когда молоденький омоновец с размаху воткнутым в живот стволом автомата опрокинул навзничь пожилого мужчину, – в те секунды он, Андрей, оказывалось, предавал их, ждал невозможного, срочного выхода. А выхода уже не было, кроме первобытной, разрывающей грудь ненависти, после этого напрягшегося, пойманного через кровяную пелену взгляда Серегина, – и со страшным нечленораздельным криком, какой мог вытолкнуть из горла потерявший рассудок человек, Андрей с животной, неподчиненной уму силой ринулся к Кустенко, нанося слева и справа по его вискам незабытые, натренированные около дедовской груши удары, продолжая в бешеном беспамятстве выкрикивать:

– Сволочи! Фашисты! Гадины! Вы против своего народа, глупцы!..

В это мгновение дальний уголок сознания подсказывал, предупреждал его о смертельном исходе своего ослепления, что сейчас он может умереть, что его убьют вот здесь, в этой милицейской комнате, но взрыв, накопленный в дни бессильной подавленности, был безумен, неподвластен ему, и с каким наслаждением он увидел в зыбкой дымке среди мотающихся лиц ошеломленно отпрянувшее, обезображенное красными потеками лицо Кустенко, его выкаченные, ставшие рыбьими глаза…

И тут темная стена обрушилась сзади на него, придавила грудью и лбом к чему-то отвратительно грязному, твердому, и он провалился в наполненную черной водой яму, вода хлестала, шумела в ушах, сливаясь, перемешиваясь с волнистым шумом, и сквозь близкий, гремящий на стыках поезд он услышал далекие человеческие звуки, плывшие слоями над водной толщей, и смутно разобрал их смысл:

– В третью комнату его! Не сдох еще, дышит? Ах, собака! А? Нашему лейтенанту нос сломал! А? Храбре-ец!

– Ничего! Пусть оклемается! А после – всё, договорим! Журналистская сукотня! По документу Демидов какой-то. На кого хвост поднял!

– Собака! А? А этого инспектора сделать… по инструкции. Ясно? Чтоб комар носа не подточил. Никакого помета. А этих… говенного депутата, сучку сопливую и старого хрыча – на хрен! К ядрене матери! В машину и выбросить где-нибудь в другом районе у помойки! Ясно?

– Старшой… капитан, ты хороший мент, дай нам сучку, малость нижним документом поиграть в сахарнице… недаром мы у тебя за демократию потеем…

– Ах вы, уголовники, курьи дети, дерьмо у вас в башках! Ладно, сучка ваша!..

«Почему шумит в ушах, как будто тону, погружаюсь в воду, но различаю голоса в комнате, и нет сил вынырнуть на поверхность, посмотреть, кто говорит? Почему я хочу их увидеть? Они убьют Серегина по какой-то инструкции. И убьют меня. Жаль, что я никого из них не успел… до слез жаль, что никого… ни белокурого, ни маленького, колючего, как еж, это он, обезумев, подпрыгивал и бил меня рукояткой пистолета по лицу…»

И, пробиваясь в ветряной гул в ушах, в колокольный перезвон мчавшегося поезда, прозвучал где-то вверху над головой бодрый вскрик:

– Вся морда в клюкве, а он… еще глядит! От блямба! Надо же! Эй, омон, вломи-ка ему прикладом, чтоб зенки закрыл, импотент интеллигентский!

И чьи-то ноги в крепких нерусских ботинках с нависшими на них камуфляжными штанами переступали, затоптались перед его головой, и опять гигантская стена боли накрыла его обвальной хрустящей чернотой.

Сон это был или явь?

Раненый мальчик лет тринадцати, в гимнастерке, в затекших кровью лампасах, казачонок, лежал, вжимаясь в землю, и только беспомощно дергался, уже не пытаясь подняться, выдавливая стонущие звуки:

– За что вы так, дяденька-а? За что-о?..

Широкоплечий, в пятнистом костюме, в намордникe с прорезями для глаз, поудобнее расставил ноги, не торопясь наклонил пистолет и, медлительно целясь, выстрелил в правую руку казачонка, потом некоторое время он смотрел, как брызгала фонтанчиком струя крови, как мальчик судорожно выгнулся, закричал, после чего пятнистый поправил на пальцах перчатку, выговорил глухо:

– Это еще, казачонок, не смерть, сначала по ручкам, потом по ножкам, – и с прежней замедленностью выстрелил ему в левую руку. Пуля попала в локоть, раздробила его; в прорехе разорванной плоти, в клочках задымившейся гимнастерки мелькнуло что-то острое, белое, должно быть, косточки сустава, заливаемые кровью, и казачонок задергался сильнее, выгибая шею, наконец отжался щекой от земли, чтобы увидеть, кто так мучил и убивал его, рот ненасытно глотал воздух, глаза, зовущие на помощь, синели гибельной влагой. И Андрей, весь охолонутый морозной дрожью, почувствовал, что не владеет собой и сейчас в неудержимом сумасшествии выскочит из канавы, рванется к этому пятнистому, который снова не спеша подымал пистолет, целясь, но в тот же миг кто-то клещами вцепился в рукав Андрея, просипел в ухо:

– Куда ты, дурак? Ты – что? Охренел? Под пули? Это котеневцы или бейтары-палачи! Видишь, там еще трое, в кожаных куртках! В кусты пошли, там над кем-то орудуют!

Андрей мычал, сдавливая пальцами рот, крупная дрожь сбивала дыхание, видел: пятнистый выстрелил в левую ногу казачонка, затем, помедля, в правую, наблюдая за судорожными извивами мальчишеского тела, за муками в отчаянии выкрикивающего мольбу погибающего ребенка, перед смертью понявшего все:

– Убейте, убейте, дяденька, проклятый! В голову стрельните! В голову, дурак! Скорей стрельните!..

Но, продлевая мучения израненного мальчика в казачьих лампасах, пятнистый больше не стрелял. Он крепко стоял на раздвинутых ногах, обутых в добротные американские ботинки, похожий на огромного зеленого марсианина, и упорно глядел на дергающееся, медленно умирающее изуродованное тело казачонка. Потом, будто черный носок, он сдернул до половины лица намордник, тяжеловесно сделал поворот кругом, как это делают нетрезвые люди, и, покачивая крутыми плечами по-борцовски, двинулся к кустам скверика, за которыми темнели фигуры в кожаных куртках и визгливо вспыхивали короткие очереди. И Андрей, едва не плача от бессилия и ненависти к этому спокойно уходившему крутоплечему омоновцу, подумал, что вот оно, началось в Москве – немыслимое, дикое…

– Бейтар, садистская сволочь! – всплыл за спиной исполненный ярой злобы голос, и кто-то грубо толкнул его в плечо. – Видал, а? Казнили казачонка, четвертовали! Что делают? Что делают? За что я четыре года воевал? Чтоб это видеть? Фашистские блядины! Ну, погодите, придет наше время, будет праздник на нашей улице! Погубили, продали Россию! На всех фонарях вешать будем власовцев! Все вспомним, до аэродрома не добежите, за границей найдем, гниды продажные! Заплатите за нашу русскую кровушку! Отольются вам наши слезы! Гады! Ух, автомата нет! Я бы их всех от пуза – длинными очередями!

Андрей слышал из-за спины эти до исступления накаленные слова незнакомого человека и, раздавленный всем, что видел сегодня, был не в состоянии превозмочь душившие его ненависть и отвращение.

По лицу прошло движение сырости, и первой мыслью было, что кто-то льет на него холодную воду. Влага стягивала коготками его губы, его виски, и он открыл глаза – фиолетовый свет, размытый розоватостью осеннего заката, падал из зарешеченного окна на свисающую с потолка паутину. И тут же откуда-то накатом наплыл колокольный звон, засверлила тупая боль в затылке, в изломанном, словно гирями, боку. Он очнулся не сразу, вспоминая, что произошло с ним, что было в каком-то провонявшем сивухой и по?том отделении милиции, куда на УАЗе их привезли от Дома Советов.

Скованный болью, он один лежал на полу, чуть светлела исцарапанная надписями стена над пустыми нарами, из-за стены глуховато доходили голоса, топот ног – не было сомнения, что его, избитого, без сознания, для чего-то затащили в эту сырую, с зарешеченным окном комнату и оставили здесь. И

вместе с болью и первыми мыслями он пережил вдруг такой рвотный приступ отчаяния и бессилия, что слезы подступили к горлу. Он попробовал приподняться, это ему не удалось. В затылок ударило гулким молотом, свело спину, закололо иголочками одеревеневшее лицо. Он потрогал разбитые губы и брови, нащупал влажную впадинку ниже правой скулы, ранку, вокруг которой кожа шершавилась засохшей кровью. «Это рукояткой пистолета». Мысли путались. «Серегин, Серегин, какой смелый парень… Что с ним? Что с остальными, с той милой девушкой? Язвенника бил по животу молоденький омоновец стволом автомата. Кто он, уголовник, которому обещали сократить срок? Обещали шесть долларов за час? А что с депутатом? Он произносил ненужные там слова… Для чего слова? Это что – молитва о справедливости? О спасении? К кому молитва? Надеяться на разум? На понимание? Какое… чье понимание?..»

Во тьме над зазубренной верхушкой баррикады промчались молнии трассирующих пуль, на площади бугорками лежали тела убитых, около моста шевелились, ползли люди, там тянулись, расплывались на асфальте лужи крови; темные фигуры в бронежилетах и касках с пуленепробиваемыми забралами стреляли, прячась в кустах, вскоре зачернели в сквере кожаные куртки, впереди закачались от густых очередей, зашелестели ветви деревьев, как под дождем, падала срываемая пулями листва, и кривоногий омоновец без бронежилета, в камуфлированном ватнике, двигая кадыком, пьяный, пил из горлышка бутылки пепси-колу, после, пошатываясь на кавалерийских ногах, разбил бутылку о бетонную стену стадиона, откуда доносились строчки автоматов; а в сквере уже не дергался на земле четвертованный пулями казачонок.

«Да, была бутылка „пепси“ у той сволочи, – подумал Андрей с непроглатываемой сухостью в горле и представил, как глотал бы сейчас минеральную воду из запотевшей в холодильнике бутылки, и от воображаемого наслаждения холодной влагой, колючими пузырьками в пересохшем рту пить захотелось нестерпимо. – Это хуже боли, – соображал Андрей, в поисках умывальника или водопроводного крана озирая погруженную в сумерки комнату, где угрюмо серели голые стены. – Сколько я здесь? И зачем, для чего они меня держат? Хотят сделать по инструкции, как с Серегиным? Тогда почему не вместе с ним?»

Со стиснутыми зубами, упираясь локтями в пол, он встал на колени, превозмогая пульсирующую боль в голове, а когда усилием всего избитого тела поднялся, закружилась голова, волнистой спиралью поплыла комната, ноги спутались, сами сделали несколько шагов к двери, не подчиняясь, и он еле устоял,

схватившись за косяк.

«Нет, если останусь жив и потом кого-нибудь встречу из них»… – прошло в сознании Андрея, и, переждав одышку, он вплотную придвинулся к двери с первым инстинктивным желанием хотя бы проверить, заперта ли она, но не сумел, заслышав бухающие шаги, близкие голоса за стеной. Там шел разговор:

– На, бери, кури. Американские. Сладкие. Чё ж ты, лопух, сучку-то отдал? Хвастал: я бы ее и так и сяк, а чё вышло? Сивенький ее у тебя отобрал и выдрал до крика.

Кричала, как недорезанная. И посейчас бы драл в закорки, да менты увезли сучку-то.

– Пошел он на ухо, старшой, падло! Попадет он мне в ночку темную, достану я его без шума. Сам не может, другим не дает, козел!

– Не скажи! Сивенький в этом деле – жох. Он вторую уже. У Останкино в подъезде патлатую разделал. Тоже до крика. У него, должно, штука увесистая.

– Заткни хлебальник, надоел! У твоего сивенького машинка не работает, понял? Импотент он. Пальцы им ломает, волосы рвет, а они орут. Известно тебе, сопля владимирская? Ведет эту тощенькую в комнату в коридоре и говорит мне: «Хочешь, говорит, за десять баксов я ей грудь оторву, вот этой рукой живьем оторву». Я ему баксов не дал, а груденка-то жиденькая у нее, может, и оторвал бесплатно, импотент!

– Ну, с ним ты не ровня! Он вчера одной очередью троих завалил. Импотент, импотент, а стреляет, как зверь. А что до крику, его дело. Он их, комсомольских сук, мучает, а ему приятно. А ты скольких завалил? Одного, что ли? Двоих?.. Еныть твою мать! А мозги-то, оказывается, как студень! На площади мужик лежал. Черепок расколот, а в нем вроде студень с кровью.

– Заткнись, надоел, говорю. Дай покурить по-человечески.

– А я что – не даю? Кури, отдыхай. Сейчас опять за этими самыми поедут. Наверняк – бабы будут. А ты тоже – парень жох. Я тебя уважаю. Сыщика,

сыскаря ты уделал как бог черепаху.

Он держался за косяк двери, слушая голоса с застрявшей спазмой в горле, и отчаянно жалел, что ему судьбой не дано сделать ни одной справедливой автоматной очереди. Ему ясно было, что в милиции действовали по инструкции, суть которой точнее всего заключалась в команде, повторяемой из усилителя БТРа возле Дома Советов: «Пленных не брать, всех на поражение!» Он вспомнил этот зычный приказывающий голос – и, весь настораживаясь, прислушался к приближающемуся шуму и шагам за дверью: по коридору кто-то решительно шел и говорил командным речитативом:

– А ну, орлы боевые, воробьиные перья, покурили, можете идти! Привезли бутерброды и водяру – дуйте-ка подкрепиться! В дверь мятежник не стучал? По сортиру не тосковал? Или штанами обошелся?

За стеной загоготали.

«Это за мной! Значит, снова в ту комнату? По инструкции?..»

И Андрей, облитый испариной и болью в голове, отшатнулся от двери, присел на край нар.

В замке заскрежетал ключ, ветхозаветная дверь рыдающе провизжала, распахнувшись, ударилась о стенку, и вошел человек среднего роста, с усердным начальственным лицом, в очках, в свитере и милицейских брюках, спросил споро и громко:

– Как, Демидов, штаны не обмочил? Или в штаны покрепче постарался? Пошли-ка со мной! В этом доме невесть какой сортир, но для офицеров. В соседнем доме и сортир и кран водопроводный для серой кобылки. Кроме всего физиологического, морду тебе сполоснуть надо! Разрисовали тебя, как на картине! Пить небось хочешь, Демидов? Возьми бутылку, пригодится утопиться! Бери-бери, когда дают, а не морду бьют! Чего молчишь, как немой, Демидов? Вижу, как ты любишь родные правоохранительные органы!

И он бросил пустую пластмассовую бутылку на нары. Андрей молчал, удерживая стук зубов. Он не глядел в лицо этого нового, не замеченного в той пыточной комнате человека.

– Молчишь, Демидов? Вери гуд! Бери бутылку! И – встать! Наручники для тебя все равно, что гамак на кладбище! И так доходяга, ветром свалит! А ну, встать! – скомандовал он грозным рыком и раскрыл дверь в коридор. – Встать! А ну-ка, иди впереди меня! Двигай, двигай ногами, как жених на свадьбе! Впереди шагай и не оглядывайся! Быс-стро, Демидов! – повторил он крепкой глоткой команду на весь коридор и кулаком подтолкнул Андрея в спину.

Коридор был пуст, сумрачен, скипидарно пахло не то лекарством, не то спиртом, из комнаты в дальнем его конце долетали разогретые мужские голоса, хохот, как будто что-то отмечали, праздновали там и, в общем возбуждении перекрикивая друг друга, говорили одновременно. Мимо комнаты надо было пройти, и от одной лишь мысли, что откроется дверь и он снова окажется перед теми людьми в серой и пятнистой форме, Андрея замутило, он непроизвольно ускорил шаги, и тут зачем-то его вторично подтолкнул в спину конвоир, торопя к выходу.

– Шагай ловчей, шагай, удила конские!

Октябрьский полынный воздух поздних сумерек освежающей водой хлынул в лицо Андрея, стянутое засохшей кровью, и он остро почувствовал предвечерний колкий ледок осени, волнующий его всегда, аптечный запах тронутых холодом листьев, жестяным звуком захрустевших под ногами на крыльце. Весь маленький двор, окруженный заборчиком, был в синеватой мгле. За дымными, как тени, березами в переулке кое-где краснели библейские тысячелетние огоньки.

– Чего остановился? Куда смотришь, Демидов? – послышался крик сопровождающего человека в свитере. – Ладно, лови момент, дыши, дыши. Теперь идем-ка сюда, вот сюда в калитку. К одноэтажному дворцу. Здесь в туалете, дверь налево, приведешь себя в порядок. Учти – бежать оттуда некуда. И учти, у меня оружие. Я подожду у калитки. Все, думаю, сказано на славянском языке. Повторять надо?

В нечистой, провонявшей мочой крохотной уборной оказался довоенный чугунный унитаз, почерневшая раковина для умывания и, подобно спасительному в пустыне оазису, водопроводный кран, который он повернул трясущейся рукой, и, хватая ртом забившую, заклокотавшую, сильно отдающую ржавчиной струю, стал ненасытно пить; давясь, обливаясь, переводя дыхание,

он глотал воду алчными глотками, пока не почувствовал тяжесть в животе. Потом, обмывая лицо, саднящую рану ниже левого виска, на щеке, он смотрел на побуревшую воду в раковине и мучительно пытался предположить, куда поведет его через минуту этот человек в свитере, и не мог сообразить, что надо сделать сейчас, отбрасывая возможность побега во дворике, когда он выйдет из уборной: ему не хватило бы на это сил. И, продолжая соображать, что же делать в следующую минуту, Андрей, ощупью ступая, спустился по ступеням в вечернюю мглу дворика. Возле калитки темнела фигура, часто загоралась, рдела искра сигареты, затем описала к земле дугу, погасла, и крепкий голос позвал с командной ноткой:

– Давай ко мне, Демидов!

Андрей подошел. Человек в свитере спросил:

– Все в порядке? Физиономию умыл? Легче малость? Можешь не отвечать. До легкости далеко. Курить хочешь?

– Не курю, – выговорил с насмешливой благодарностью Андрей, пересиливая неимоверное желание взять сигарету, вдохнуть запах серы от зажженной спички, ощутить сладко-терпкий вкус дыма.

Они стояли у калитки между двумя двориками, человек в свитере не подавал команду, не торопил Андрея, думал о чем-то.

– Так, Демидов, так, – заговорил он сбавленным тоном, и в стеклах очков, обращенных к дому милиции, пробежали световые блики от вспыхнувшего электричества в окне угловой комнаты. – Значит, Демидов, Андрей Сергеевич, являешься журналистом, как я узнал из твоего удостоверения? – заговорил он быстрее, с недоверчивостью. – Что-то знакомая мне фамилия. Может, читал, а может – нет. А есть вот такой художник очень известный – Демидов. В Третьяковке видел… Я живописью интересуюсь. В газетах давали его портреты. С бородой вроде купца. Се-ерьезный господин… Вы, как журналист, знаете такого однофамильца, Андрей Сергеевич? Слыхали? – спросил человек в свитере, переходя непоследовательно на «вы», и Андрею послышалось некоторое выпытывание в его вопросе. – Хорошая у вас профессия, но талант иметь надо, верно говорю?

– Журналисты есть всякие, – суховато сказал Андрей.

Человек в свитере осерженно гмыкнул.

– Я спрашиваю вас, Демидов: вы – журналист? Или тень-дребедень? Вы – журналист по таланту, Андрей Сергеевич? Или политиканчик газетный?

– Я не скрываю своей профессии, я журналист, – сказал Андрей. – А по таланту ли – судить не мне.

– А что скрываете? Чего не хотите говорить? Я любопытный…

Андрей проговорил неохотно:

– Не скрываю, а просто не ответил вам. Рад, что вам нравятся картины моего деда.

– Так вот оно, какие дела-то под Полтавой! Дед ваш? Ну дела, дела-а! – протянул человек в свитере и так длинно выдохнул вместе с гмыканьем воздух, что Андрея обдало водочным перегаром. – Если и соврали, красиво соврали, Андрей Сергеевич! Однофамилец, да если и не родственник, такого родственника поиметь бы не мешало! – И он сурово изменил сбивчивую свою речь. – Ну что? Ну что? Думаете, я вас бить буду в том клоповнике? Не-ет, Андрей Сергеевич, я в дерьмо не лезу! Потому что знаю, кто приказы отдает! Потом кровь с рук шваброй не отмоешь. Ответственность с армии и с нас… указом президента сняли… И в душах первобытный зверь проснулся. А утром ящик водки привезли, полмешка денег. Слаб человек, еще Достоевский писал. По-христиански простить бы их надо за темноту, за корысть дурацкую. Свихнулись они, с ума сошли, мозги набекрень…

– Их простить? – проговорил Андрей, и разбитые губы его вздернулись криво. – Омоновцев и ментов? Вот уж этот гуманизм, простите, не для меня!

– Сказали «ментов»? Так называют нас уголовники. Вы хотите посмеяться, Андрей Сергеевич?

– Смеяться мне не хочется, – сказал Андрей непримиримо. – Ментами называли омоновцы ваших милиционеров, и протеста никакого не было. Понимали друг друга. Я видел, как избивали инспектора угрозыска. Сами же своего.

– Вот что! – неожиданно крутым голосом произнес человек в свитере, и Андрея вновь обдало выдохом кислого перегара. – А ну, шагай во двор! Не к дому, не к дому, а вот сюда, налево, к забору! Шагай, шагай! – непрекословной командой подогнал он, кося стеклами очков на желтеющие в доме окна. – Поговорил бы я с тобой, журналист, за кружкой пива, доказал бы или не доказал бы, что не все дубодолбы в милиции, а есть дяди, которые и Федора Достоевского малость почитывали, и пейзажики на картоне акварелью мазали! Любители жалкие, не Демидовы, а все-таки не убийцы! – говорил он запальчиво и обиженно и все подталкивал в плечо Андрея ближе к забору. – Вот хлопнуть тебя здесь, и все дела, все по инструкции. И отвезут, куда надо, и следа нет. Ну, уничтожить тебя, что ли, веселого такого? Очень просто – паф – и нет журналиста!

Он засмеялся гмыкающим смехом, порывисто остановил Андрея нажатием на плечо, шагнул к забору и сильными рывками раздвинул с треском две доски, скомандовал:

– А ну, ныряй в дыру, пока я пьяный и добрый! Ну, что стоишь, как у жениха на свадьбе! Ныряй и дуй, ползи, вали, как страус, мотай отсюда со всех ног, чтоб задница сверкала! Только патрулям не попадайся! Они тебя обратно сюда притащат, а уж тогда не жди добра! Будь здоров, не кашляй!

Когда Андрей, еще не веря в свободу, в счастливый поворот случайности, пролез через дыру в заборе и увидел сереющую дорогу, свет в окнах, тополя в темном переулке, он не устоял на подломившихся ногах, скатился в канаву, в колкую, забросанную осколками кирпичей сырую траву, и тут от боли мгновенно не смог подняться. В голове все гремел, стучал поезд на стыках, а сверху от забора достиг через грохот басовитый голос:

– А ты – самозванец, журналист! Демидов не твой родственник! Соврал мне… Твое удостоверение личности оставлю на память! Будь здоров, Демидов!..

Часа два он выходил к Москве, плутал на окраине, в бессилии спотыкался, падал, отдыхал, садился на землю у заборов, прятался в тени домов, заметив

впереди неразборчивое движение в переулках (или это чудилось ему), вокруг ни звука, ни прохожих, ни проезжих машин. Отдыхая, он прислонялся спиной к тополям и сквозь еще не ослабевший вкус крови улавливал запах осени, мокрых листьев, и тогда вдруг жаркой волной омывало его желание жить: что ж, это было везение, это счастливая судьба непредвиденно подарила ему в сером свитере странного милиционера, читавшего Достоевского и малевавшего на картоне, и нужно было поблагодарить своего ангела-спасителя хоть одним словом, но он не успел поблагодарить.

Колонна бэтээров с включенными фарами пересекала старую окружную дорогу, шла к городу, свет радиусами скакал по стволам берез, виднелись силуэты солдат, сыпались на ветру искры сигарет, и враждебно гудели мощные моторы, как там, на площади Дома Советов. Потом в голове колонны наклонно взмыла сигнальная ракета, указывая путь к Москве, и в эту секунду Андрею с надеждой подумалось, что еще ничего не кончено возле Дома Советов. Но там уже все было кончено.

Только в четвертом часу ночи он добрался до дома. Изнеможенный, с трудом держась на ногах, Андрей остановил одиноко мчавшуюся по бессонно освещенному Ленинскому проспекту черную «Волгу», очевидно, машину какого-то начальства, угрюмолицый шофер подозрительно глянул на него, сказал сначала: «Пятьдесят», сумрачно помолчал и так же кратко бросил: «Сто».

На единственный вопрос Андрея, что происходит у Дома Советов, он пальцем, как бритвой, провел по горлу и щелкнул языком. Денег и часов после милиции у него не оказалось, и неизвестно почему неразговорчивый шофер согласился подождать у подъезда, поверив Андрею, что он подымется и немедленно вынесет деньги. Деньги вынес не он, а сам Демидов, бурно расцеловавший Андрея, и громовым криком мгновенно отправив в ванную с каким-то восторженным пояснением, что от него прет «амбрэ», как от мусорной ямы на захолустном полустанке. Демидов вернулся от шофера и громогласно сообщил: «Не жалко было дать и двести!» Ахая, произнося просоленные русским гневом определения, он принялся шумно ходить мимо двери ванной, где Андрей с передышками сдирал с себя пропитанную кровью, потом и грязью одежду, и вперемежку с восклицаниями: «Кто же тебя так талантливо разукрасил!» – начал рассказывать, что он, не дождавшись до полуночи Андрея, не вытерпел истерических воплей демократов, призывавших раздавить гадину, то есть Верховный Совет, не вынес гнуснейшего хоровода и торжества победителей, фанфар по телевизору и бросился по обезлюдевшей Москве к Дому Советов в

поисках неблагоразумного внука. Неужто сей внук не уяснил, что растлены и раскорячены умы испокон века шаткой интеллигенции, обманут гегемон, развращена и подкуплена армия, оказавшаяся, к геростратовой беде, вовсе не народной и не доблестной? Они, защитнички наши, из этих бэтээров и танков стреляли не в чужестранные войска, которые могли бы в ответ шарахнуть, аж у чертей в штанах бы затрещало, а в безоружный Верховный Совет, иначе – в депутатов народа, стало быть, народная армия расстреливала свой кровный народ, и случилось, что у матушки-России сначала расстреляли, а потом отобрали советскую власть. Что ж, храбрые марсиане в масках, эти омоновцы да герои-солдатушки, братцы-ребятушки войдут в историю как самые образцовые засранцы и иуды кровавой пробы девяносто третьего года, поры измены и неандертальской тупости.

– Хотел бы спросить Господа Бога, отчего так непотребно обезумела Россия? Почему правят ею панельные козероги, стирающие грязное белье в Кремле? Грошовые политиканы, по дешевке распродавшие с потрохами Россию американским кретинам и дебилам! – И Демидов, уже впадая в неистовство, стал сокрушать непрощающей яростью ночную тишину квартиры: – Было ли такое ничтожное, пакостное время в истории России? Ничтожное, безнациональное, торгашеское, позорное! Было, внук, было! Семнадцать лет смуты, варианты всяческих Лжедимитриев, предательства, подкупы, убийства, разврат, грабеж, поголовное пьянство! Все было! Но не такое циничное, грязное, извращенное! Боялись Бога при всей своей мерзости, иногда воздымали глаза к небу! А нашей растопыренной завиральными посулами неповоротливой России преподнесли новоиспеченные демократики невиданную во вселенной свободу, достоинство, райскую вседозволенность! О, неблагодарные русаки! Рыдать от гордости надыть, белугой реветь от счастья жить в эпоху всяческих обалдуев, глупцов и реформаторов! Чепчики – в воздух! В восторге отрывать трепака, трясти напропалую портами перед цивилизованным Западом, изумлять славянским дуроломством! Эх ты, да ах ты, пей, гуляй, свободная, сытая, блаженная Русь! И эх ты! – И Демидов изобразил выходку, приплясывая, ухарски хлопнул себя ладонями по щиколоткам, выпятил колесом грудь, притоптывая каблуками, молодецки гикнул и театрально замер, расставив руки, как делают танцоры, рассчитывая на взрыв аплодисментов.

– Однако аплодисман был снисходительным и жидким, – заключил Демидов, уравновешивая дыхание, и заглянул в дверь ванной. – Даже не смешно, внук, а? А теперь скажи-ка, рыцарь печального образа, где и кто тебя так художественно разукрасил?

А Андрей, впервые в жизни испытывая несказанное наслаждение, лежал в ласково-теплой воде, вытянув руки, бездумно растворяясь в мягкой невесомости этой врачующей теплоты, благостно утишавшей боль в боку, и приятно было чувствовать цветочный запах от намыленной розовой губки и видеть мелкое солнечное дрожание водяных бликов на белизне кафельной стены, два сверкающих бритвенных прибора, зубные щетки его и деда – на стеклянной полочке под запотевшим зеркалом, махровые полотенца на никелированной вешалке, продолговатый плафон на потолке, источающий матовый свет, – в ванной оставалось знакомое с детства благополучие, обнадеживающая беспечность комфорта, налаженного покойной матерью. Но все-таки в этой расслабленности домашнего рая, любовно принявшего Андрея, боль в боку и голове не проходила, и когда он поворачивал шею, появлялась дурманная зыбкость и подташнивало.

– Подожди, – проговорил Андрей, с каким-то родственным умилением видя в дверях ванной вопрошающее лицо деда, его смоляные глаза, русую с проседью бороду, старую домашнюю куртку. – Я сейчас. Только, знаешь, я хотел бы чего-нибудь выпить. Лучше – водки. И чего-нибудь поесть.

Потом, охмелев после выпитой водки, они сидели за столом, и Андрей, согретый в своем домашнем лыжном костюме, причесанный, начал рассказывать; его небритое лицо, распухшее, в ссадинах и синяках, с наклеенным на левую щеку пластырем, найденным в квартирной аптечке, казалось, видимо, деду чужим, и, слушая Андрея, он кряхтел, погрузив руку в бороду, вглядывался, похоже, в каждую ссадину и кровяной подтек, полученные неудачливым его внуком в некой захолустной милиции, где расправлялись с так называемыми участниками мятежа.

Он не перебивал Андрея, и черные выпытывающие глаза его становились то задумчивыми и страдающими, то непреклонными, то соучастливо-печальными, и лишь в конце рассказа он, насупленный, неудовлетворенный, в сердцах грохнул кулаком по столу, отчего звякнули чашки в блюдечках, воскликнул:

– Стало быть, если бы не известность деда и не тот любитель живописи, мой внук, возможно, не сидел бы сейчас со мной! Ах, мерзавцы!

Он вскочил, заходил по комнате растревоженным медведем, бросая грозный взгляд на Андрея, затем, жестко выделяя слова, начал рассказывать, как он искал его, Андрея, словно пылинку в городской пустыне, а на улицах пахло

пожаром, и на площади, на набережной, на баррикадах, везде – разгром, везде следы недавнего убийства, в разных местах чернели лужи, кровавые тряпки, железные прутья, обрывки одежды, поломанные куски щитов, женская туфля, разорванный детский ботинок, мужской берет… Его не пропустили к Дому Советов, оттого что длинный плащ и борода приближали его к облику священника. Это он понял по окрикам и пьяному хохоту марсиан в лягушачьих костюмах, когда они закричали ему: «Эй, поп, борода, мотай отсюда, тут не церковь! Кого ищешь – не найдешь, молись за их души на небесах! Мотай к попадье под рясу, а то схлопочешь в мотню сливу!»

Всюду стояла и ходила милиция, марсиане с автоматами, в сквере раздавались крики, одиночные выстрелы, там мелькал свет фонариков; издали видно было, как крытые грузовики подъезжали и отъезжали от громады Дома Советов. Он встретил возбужденные группки людей, которые объяснили ему, что в сквере и на стадионе добивают раненых, а грузовики вывозят трупы в неизвестном направлении, в подмосковные леса, в безымянные ямы тайных захоронений – тысячи убитых в эти дни, без оружия защищавших Верховный Совет. Официальная цифра жертв – 147 человек – была официальной ложью, переданной по телевидению. Сообщена и правда: Председатель Верховного Совета Хасбулатов, Руцкой, самые видные депутаты, генералы Ачалов, Макашов арестованы. Наполовину трезвый президент Ельцин, мечом и огнем подавивший «антидемократический путч», остался полноправным правителем России и заявил на весь мир, что отныне с Советами и коммунистами покончено.

– Это не беспредел! И не уродливый зигзаг истории! А кристаллизованное мерзавство в соитии с духовным проститутством, какого не было ни в Содоме, ни в Гоморре! Полнейшая порнография духа! Кончился век гениев, торжествует эпоха предателей и политических негодяев! – неистовствовал Демидов, рубя воздух кулаком. – Германия тридцать третьего года, приход Адольфа к власти! Поджог рейхстага! Смотри, какое значительное совпадение – тридцать третий и девяносто третий! Это только начало чудовищной трагедии! Быть гражданской войне и неслыханному океану кровавых слез – которые вторым потопом зальют Россию от края до края! Ох, не хотелось бы! Как это сказал твой спаситель в свитере – «простить сумасшедших?» Да, безумные, жестокие, кровожадные дикари! Поистине сердца сынов человеческих исполнены зла, безумие гнездится в их сердце. По-моему, так или умнее сказано у мудрейшего проповедника Экклесиаста! Пришел я от Дома Советов, Андрюша, и с горя по-стариковскому разумению подумал о Библии. Все, что было, есть и будет… В колодцах мудрых –

великая печаль сжигает душу. Пророки писали вечную книгу жизни и думали о Боге, бесславной судьбе человечества, испортившего себя в жалкой суете сует и жестоком томлении духа!

И Демидов с темным румянцем на скулах повернул к крайним стеллажам, где стояли перечитываемые им книги: как видно, он хотел достать Библию.

– Не надо, – сказал устало Андрей. – Не надо никаких мудростей, дедушка. Все просто и примитивно, и нечему удивляться и говорить: «Ах, ах, как это возможно? Какая бесчеловечность!» И не надо устрашаться, дедушка: гражданская война, кровь… По тому, как демократы уничтожали Верховный Совет, можно надеяться, что они с поклонами отдадут народу власть? Никогда! Они будут раздирать на куски, грабить, расхищать, высасывать все соки из России еще сто лет, пока не превратят ее в мировую помойку или в кладбище радиоактивных отходов!

– Охо-хо, ты говоришь об агонии России. Я боюсь, внук, большая кровь будет гибельна для славян.

– Меня не радует быть русским рабом с гибкой спиной. Я не хочу зашнуровывать ботинки какому-нибудь американскому гауляйтеру Смиту или какому-нибудь немецкому налитому пивом Мюллеру. Меня не пугает гражданская война, дорогой дедушка. Что бы ни было, вместе со всеми… что ж… иначе – яма, гестапо и демократические гулаги, милый, дорогой дедушка…

Демидов, стоя боком у стеллажей, так и не взял книгу, взбудораженно порылся в растрепанной бороде.

– Погоди, что сей сон значит? Откуда новые эпитеты – «милый, дорогой дедушка?» Уж лучше тогда из Чехова – «милый дедушка, Константин Макарыч, и пишу тебе письмо». Ирония, мой внук, со мной ни к чему!

– Не знаю, что-то такое… не хотел… Прости, что-то не так… – признался Андрей и пощупал пальцами лоб, где, не переставая, пульсировала боль, коснулся заклеенной пластырем щеки и стиснул зубы. Комок бессильных, заледеневших в горле слез схватывал дыхание, и он договорил тускло: – Не могу забыть, дедушка…

– Если, Андрей, всю пакость сохранять в памяти, так долго не выдержишь.

– Я успел взять одно интервью у депутата Котельникова возле Дома Советов. Он рассказал мне, что происходило внутри Верховного Совета. Но главное было в другом. Когда двинулись танки предательских Кантемировской и Таманской дивизий, он был в зале Национальностей. Туда как раз пришел Руцкой, очень возбужденный. Ему удалось сделать радиоперехват командира танковой колонны. Тот по рации докладывал высшему начальству: «Не могу продвигаться, люди ложатся под танки». А начальство ему: «Дави их, твою мать!» Танкист пробует объяснить: «Я уже не могу, все гусеницы в крови!» Начальство в бешенстве: «Я тебя расстреляю, говно, дави!» Вот тогда, дедушка, я особенно понял, кто такие генералы-либералы и кто такие демократы. Мне больше никакого интервью не надо было. Все происходило вокруг Верховного Совета, я видел сам. Ты меня слышишь? Ты как-то смотришь на меня, как будто думаешь о другом.

– Я слушаю тебя в два уха и думаю вместе с тобой о неисчислимой подлости, – сказал Демидов и с непоколебимым лицом вытянул из ряда книг том Библии, положил перед Андреем, говоря: – Коли уж познал великую мерзость, то перед сном почитай Экклесиаста. В меру успокаивает душу и боль вот здесь. – Он постучал пальцем по груди. – Кстати, из мыслей мудреца можно вывести современную формулу. Праведник погибает в своей праведности, потому что впечатлительная душа, нечестивец долго живет в своем нечестии, ибо служит дьяволу во всех вариантах и отдается в каждой подворотне за рубль. Это ты должен знать. Учись у мудрых до гробовой доски. Надо бы уметь охлаждать сердце. Демократы-долгожители… из племени нечестивцев. Подозреваю, что ты праведник, хотя…

– Что «хотя»?

– Хотя твой дед и твой отец таковыми не являются.

Андрей помял пальцами лоб и виски, смиряя нависшую над бровями боль, и, не сумев успокоить ее, сказал:

– Я не праведник и не Дон-Кихот. И ни в какой великой печали не пребываю. Это не печаль. Печаль – очень уж поэтично, дедушка.

– А что? Что? Что у тебя на душе?

– На душе? – усмехнулся Андрей вспухшими губами. – Какая тут душа? Ненависть, презрение… и что-то другое… какое-то отвратительное бессилие…

Оно, это смешанное чувство, все время было с ним, темное отчаяние и безысходное унижение, о чем он не мог думать без внутренней дрожи. Демидов присел к столу, не глядя на Андрея, начал машинально перелистывать Библию. Андрей налил себе водки, но пить не стал: его подташнивало, истязающая боль колотила в висках тупыми молоточками, не проходило головокружение, и уже он определил для себя, что это были явные признаки сотрясения мозга. Тот маленький, разъяренный, колючий, как еж, милиционер, буйно прорывался к нему, целясь бить рукояткой пистолета по голове, притом резво подпрыгивал, в азарте вылупив восковые глаза. «Что сейчас я чувствую к нему и к тому белокурому лейтенанту? Злобу? Нет, что-то новое… Увидеть страх, ужас в их глазах – вот что я хотел бы».

Сдавленный голос Демидова произнес:

– Ты замолчал, внук. Я тебя слушаю. Значит, на душе сверхскверно?

– Дедушка, – сказал Андрей с подобием улыбки на изуродованных губах. – Вот ты взял и листаешь Библию и говоришь: мудрый, вечный учебник жизни. Скажи – научила людей Библия добру, милосердию и человечности? Многих ли? Задумались лишь единицы чудаков и философов. Несмотря на все заповеди, проповеди, мифы и притчи – единицы! А Бог? Вездесущий, всемогущий, всеведущий? И что же? Почему открытая дьявольщина и подлая ересь торжествуют в России? Чем провинилась Россия? И почему путается под ногами эта покорная достоевщина: «Смирись, гордый человек!» Перед кем?

Перед кеми? Вот он, вечный вопрос, дедушка, и никто на него толком не ответит. А если ответит, то напорет базарную чушь или салонную банальщину! Сколько фраз: а смирение, покаяние, раскаяние, а непротивление злу! Это ведь истощенное глупостью вранье для ханжей, дураков и рабов! Интеллектуалы ломают головы над карамазовщиной и пугаются подумать, что это философия рабов! Я читал раза три Библию, даже цитировал в статьях. Знаешь, что для меня сейчас главное в ней? Совсем уж «не возлюби врагов своих». Кому нужно шизофреническое сюсюканье апостола, когда вокруг убивают! Бред отупевшего

от умиления старца, которого по голове сандалией стукнули! «Возлюби врага своего» – это же оправдание предательства и трусости! Главное вот что для меня. Всем известная формула. «Время любить, время ненавидеть». К черту отбрасываю «время любить»! Остается: «время ненавидеть»! Ты меня понял, дедушка?

– Мда, очень… мда, – промычал оторопело Демидов, и грозные, как на старых иконах, глаза его вдруг стали младенчески беспомощными, каких ни разу не замечал у него Андрей. – Ты как-то безбожно, Андрюша, по-якобински, как-то слишком, что ли, революционно, не оглядываясь. По-кавалерийски. Удары наотмашь. Насмерть. Умного апостола Матфея ни с того ни с сего с ног свалил! Тебя гложет идея фикс! Одержимость! Это не нужно. Это зря. Это губительно, Андрюша.

– Что губительно? Почему наш патриарх не предал анафеме убийц, как заявлял?

– Твоя непримиримость – твоя ненависть. А ненависть требует выдержки. Надо глубинное спокойствие, чтобы… Иначе сорвешься и затопчут, затопчут…

– А ты спокоен?

– Я прожил целую жизнь. Ненависть не спасет. Ни одно государство в истории не спасала ненависть. Все решали направленность духа и воля. Так было в Отечественных войнах. Это – непреложная истина, Андрюша.

– А если воля и дух иссякли и нет змеиной печени, осталось одно голубиное сердце и растерянность перед силой предателей? На что и на кого уповать? На Господа Бога?

– На гражданскую войну не уповай. Американцы введут войска под лозунгом защиты демократии и прав человека, против коммуно-фашистского мятежа и поработят слабенькую сейчас Россию окончательно. Расчленят на крошечные провинции и – конец русскому народу. Наша армия оказалась пустоцветом. Она будет воевать за тех, кто платит. Дожили и до такого позора, внук! Так что!..

– Так что – дожили! Поэтому надеяться не на кого! – сказал с отвергающей насмешливостью Андрей.

Он поднялся, его качнуло, он постоял, держась за спинку кресла, волнение отдавалось ударами в голове – потом, насколько хватило сил ступать твердо, приблизился к письменному столу Демидова, выдвинул нижний ящик. Он выложил оттуда папки, листы с рисунками, после чего из длинной жестяной коробки с надписью «Монпансье» извлек завернутый в тряпку, мутно поблескивающий потертой вороненой сталью немецкий «вальтер», подаренный деду в годы войны лечившимся в московском госпитале художником капитаном, заходившим в мастерскую.

– Вот что нужно, чтобы выжить, – сказал Андрей. – А не голубиное сердце и терпение!

Толкая животом стол, Демидов встал во весь свой громоздкий рост, брови взлетели, он вскричал лающим голосом:

– А ну положи немедленно игрушку! И никогда, ни при каких обстоятельствах не трогай больше! По твоему характеру ты еще пульнешь в какого-нибудь сатрапа! Ополоумел ты, Андрюша, прости Господи! Или я, старая галоша, оглупел вконец, не вижу, что тебе в постель лечь надо. Ты болен!.. Да еще в каком ты гневе, в какой ненависти! Это бывает хуже болезни, убивает здравомыслие!

Остынь, Андрюша! Послушай своего деда, ты ведь у меня один!..

– Насчет гнева мне есть у кого учиться, спасибо большое, – сказал Андрей, взвешивая на ладони пистолет, любуясь им. – Какая приятная тяжесть. Какая красивая штука…

Демидов с грохотом отстранил ногой стул, стремительно прокосолапил к Андрею, подхватил с его ладони пистолет, сунул в ящик стола.

– Все! С этим кончено, раз и навеки вечные! – И он с размаха захлопнул ящик. – Что касается моего гнева, – проговорил он осипшим горлом, – то он другого рода. Но я не о себе… – Демидов умолк, и Андрей вблизи увидел его безотрадно погасшие от невыраженного страдания глаза. – Послушай хоть один совет… не только мой, а, наверно, тех, кто не победил. Не давай себе воли впопыхах мстить, не торопись удовлетворить злое чувство, – продолжал убеждать Демидов. – Ведь скорый гнев, дружище, не достоинство ума. А ты никак уж не глупый парень. Говоришь – мой гнев? Андрюша-а… Мне давно уже ничего не

страшно. Ты же молод, у тебя вся жизнь впереди. Милый, прошу тебя, запомни: не спеши с гневом, не уподобляйся глупцам… Ненавистью ты разрушаешь себе душу! Это бессмысленно, Андрюша!..

– Наплевать мне на глупцов, – с тихим отчаянием сказал Андрей и пошел к двери в свою комнату. – И наплевать мне на то, что обо мне подумают и глупцы, и умники. – Он задержался у двери, хмурясь. – А я тебя прошу – перестань мне внушать рабское библейское благоразумие и это еще идиотское смирение! Трусость это, что ли? Ты-то сам так далек от благоразумия, что хоть «караул» кричи.

– Андрюша-а, внук! Очень огорчаешь и обижаешь меня! – выговорил убито Демидов и, помрачнев, затеребил бороду. – Мда, очень…

– Да нет, просто я не могу видеть тебя таким… что ли, с голубиным сердцем… Спокойной ночи. Завтра утром мне все-таки надо в поликлинику. Не беспокойся. Ничего страшного. Как видишь, я жив.

И он закрыл за собой дверь, не включая свет в комнате. В безмолвии, окруженный плотной темнотой, он был один. Слезы стояли в горле, душили его и не проливались.

В поликлинике молодой врач с опрятной бородкой задал ему единственный вопрос, где его так отделали, а когда он ответил, что не бандиты, не грабители и не ночные разбойники, больше вопросов не последовало, по лицу врача видно было, что все подробности излишни, и он, не раздумывая, направил Андрея в рентгеновский кабинет. Два ребра справа были сломаны, но почкам и печени повезло – они оказались целы. Однако был поставлен недвусмысленный диагноз – нелегкое, отнюдь, сотрясение мозга, прописаны вливания глюкозы с магнезией, постельный режим «пока недельки на три-четыре», куча лекарств, которых Андрей никогда еще не принимал.

Целями днями он валялся на диване, читал, спал в полуяви, по утрам писал, волновался, потом подставлял хорошенькой медсестре руку для вливания в вену, бесцельно кокетничал с ней, острил наугад, чаще всего перезванивался с вдумчивым Мишиным, погруженным в «русский вопрос», иногда, измученный лежанием, заходил в мастерскую деда, где тот, чертыхаясь, осыпая себя

«испанскими» проклятиями, сумрачный, как осенний дождь, надоедливо льющий за окнами, дописывал с каким-то остервенением и никак не мог дописать автопортрет, недовольный своей «физией, через край дикобразной».

Но Андрей на время забывался в мастерской, слушая рассуждения недовольного собою деда о светосиле и светотени, о красоте как соразмерности света и доброты, о желтом цвете, равном понятию жизни, о синем, выражающем фатальную неизбежность, вечность и смерть, о черном, равносильном таинственности и угасанию духа, о том, что борьба двух противоположных красок, желтой и синей, отождествляется с непрекращаемым от века боем добра и зла, Бога и сатаны, солнечного света и ночного мрака. Демидов говорил о том, что художники, исполненные высокой добродетели, достойны называться бессмертными, а он грешен и грешен, говорил, что все, даже неистовые, человеческие страсти, пороки, взлеты, страдания, падения можно выразить красным и зеленым, что в общем живопись и литература – это попытка напоминания, честолюбивая мечта о бессмертии, в конце концов неспокойная память о времени и человеке, оставленная словами и красками на бесстрастном камне вечности и забвения: мы тут были, мы жили. И это высшее проявление благодарности человека за единственную, во веки веков данную ему жизнь. И это вспышка сигнала Богу о нашем существовании в былом либо в настоящем, и никто не может уничтожить эту правду, когда она говорит о нашем разуме, глупости и заблуждениях.

Демидов увлекался, начиная размышлять об искусстве, он откладывал кисть, морщины на большом лбу разглаживались, он густо гудел, ходил по мастерской в неизменной, заляпанной красками куртке, на ходу подчеркивая мысль, ударял ребром ладони по висевшей в углу боксерской груше, кидал испытующий взгляд на Андрея, курившего в молчании.

– Все или ничего! – говорил Демидов раскатисто. – Великие живут тремя жизнями: в природе, в искусстве, в бессмертии! Итальянец Гуэро, вот тут у меня в восемьдесят первом году говорил о русских: этот народ еще состоит из настоящей надежды и веры.

И Андрею казалось, что в размышлениях деда скрывалось нежелание возвращаться к ночному разговору, от которого обоим не стало легче. Но порой в его взгляде проблескивало беглое непонятное восхищение, как если бы он соглашался и принимал в душе состояние внука после тех октябрьских дней. Боль воспоминаний обострялась у Андрея по ночам, когда он просыпался от

смертно кричащих за стеной людей, от шевеления ползущих по асфальту тел, от сырого запаха крови ли, плесени ли, потянувшего во тьме комнаты. Он пытался заснуть, насильно закрывал глаза, стараясь думать, по совету врача, о движении облаков в голубом небе, внушая себе, что сон вылечит его.

Наплывала тишина, знойно звенело в ушах, точно в раскаленной пустыне пересыпался песок, и вся затихшая на ночь Москва, весь непроглядный мир, весь огромный дом погружался в черную засыпаемую песком бесконечность, и наваливалась немота, мнилось, неразрушаемая, до рассвета. Но он не спал и вместе спал, и в этой душной немоте комнаты, которую он продолжал осязать, кто-то неизвестный враждебно возникал над ним, стоял в изголовье, дышал, пристально глядя на него, незащищенно лежащего на спине. И кто-то другой подходил сбоку, сопел рядом, чавкал вывороченными губами. Он в ужасе открывал глаза, покрываясь испариной, приподнимался порывисто – никого около постели не было. Он опять закрывал глаза, опять внушал себе, что надо расслабиться, – и вновь всасывающая темнота держала его над бездной забытья, понемногу окутывала тонкой паутиной, и внезапно жалобный детский плач раздавался где-то вблизи, выбрасывал его из дремы – кто это? Откуда крик? Чей? Как будто ребенок, которому делали больно, звал его на помощь, умолял, плакал – и он уже не мог заснуть, ворочался на каменной постели, взбивал кулаком подушку, наконец зажигал свет, читал, затем снова гасил свет, тщился всеми усилиями задремать, но еле различимое постанывание в углу, чей-то незнакомый голос из тьмы: «Андрей…» – и странный вкрадчивый скрип паркета под чьими-то шагами держали его в неослабляемом напряжении, и засыпал он под утро молниеносным дурманным сном. Иногда после бессонных мучений он детально осмысливал прошедшую ночь, и его пугало нечто ненормальное, болезненное в том, что еженощно его комната была враждебно наполнена бестелесными видениями, озвучена тайными, угрожающими звуками.

Однажды Демидов спросил, принося утром газеты:

– С кем ты разговариваешь по ночам, Андрюша?

– Наверно, с дьяволом, – ответил невыспавшийся Андрей и, проклиная ночную муку, серьезно подумал, что если так будет продолжаться, то можно сойти с ума.

И все же на четвертую неделю он почувствовал себя лучше – побеждала молодость, запас генного здоровья Демидовых. Кроме того, улучшение было

связано с крохотной заметкой в четырехполосной газете «Патриоты России», выпускаемой неким издательством, – два раза в месяц кто-то клал газету в почтовые ящики, и старший Демидов, помыкивая в бороду, довольно похохатывая, читал ее от строчки до строчки.

Это малоизвестное издание он принес рано утром, дымя первой сигаретой, выделил из кипы других, кинул на постель Андрею.

– Почитай-ка. Информацию «Возмездие». Фантастически невероятно, а интересно. И чрезвычайно знаменательно. Но, но!..

Он не разъяснил, что означает «но», потоптался на пороге с сигаретой в зубах и вышел. И Андрей прочитал маленькую заметку, вжимаясь затылком в подушку, с жаром волнения, ударившим в виски.

«Над некоторыми запятнавшими себя жестокостью преступниками, проявившими усердие 3-го и 4 октября в дни массового убийства в Москве, неотвратимое возмездие уже свершилось: стало известно, что убито около пяти офицеров карательной дивизии Дзержинского, два котеневца из СВА (кто-то целенаправленно ведет отстрел его двенадцати „октябрьских героев“, которые из-за своей глупости и тщеславия имели неосторожность попасть в закрытом Приложении соответствующего приказа в список награжденных за октябрьские события орденом „За личное мужество“: несколько русских, трое татар и лиц с двойным гражданством). По слухам, ликвидацией палачей занимаются отдельные честные офицеры и гражданские лица. Режим своим безрассудным беспределом вызвал на собственную голову самый опасный вид сопротивления – возмездие и ответный террор со стороны молчаливых одиночек, исчерпавших предел своего человеческого терпения и не верящих ни в какие организации или собрания».

«Значит, „возмездие“? Свидетели того страшного, что было в Москве? Они видели и запомнили тех кровавых молодцов, кто убивал, истязал? Вот они, героические одиночки, которые знают, что делать!»

Лежа на спине, он бессознательно скрестил на груди руки и бессознательно сильно стиснул плечи, чтобы не разрядить счастливое и злое волнение.

«Как прекрасно, как похвально закатывать молитвенно глаза при одном упоминании о непротивлении злу, – думал Андрей, смеясь над коридорной в редакциях газет болтовней после „путча“ девяносто первого года. – Отходчивое сердце? Извечная доброта? Зачем русскому человеку змеиная печень? Все, что делается в России, исправит время. Все обойдется. Какая ненависть? К кому? К тем, кто захватил власть в Кремле? Они же в конечном счете, что ни говори, демократы. А примиренцы не выходили из дома в октябрьские дни, сидели у телевизора и верили, верили лжи, в коммуно-бандитский мятеж».

Андрей не вставал с постели, глядя перед собой в потолок, и не видел ни надоевшей запыленной люстры, купленной еще покойной матерью, хрустальной медузы над его диваном, ни кругов дворянской лепнины – и то, что проходило сейчас в голове, напоминало скачки и разрывы мысли, когда он неотступно думал о статье, начатой во время болезни и незаконченной.

«Господи, знаешь ли Ты, прости меня за богохульство, за грешное сомнение, знаешь ли Ты такую доброту, такое милосердие, прощение и как там еще подобное называется, которое искупило бы всю подлость, – продолжал думать Андрей. – Господи, прости, но я знаю, что в те дни зашатавшейся властью были растоптаны христианская доброта и блаженной памяти милосердие…»

Его мысли не были ни бредом, ни разговором во сне, как бывало с ним не раз в дни болезни, он чувствовал конкретную действительность того осеннего утра и той малоизвестной газеты с ее разящей информацией о возмездии, подтверждающей то, что носилось в воздухе.

И Андрей, испытывая новую потребность прикоснуться к омерзительному цинизму, воплю власть имущих, нашел на ночном столике записную книжку, в которой делал заметки и наброски, отыскал нужную страницу записей октябрьских и послеоктябрьских дней, и, как тогда около Дома Советов, его обдало металлическим запахом крови.

3–4–5 октября 1993 года.

«Это же нелюди, зверье! Никаких переговоров!.. Надо перебить эту банду» (премьер-министр В. Черномырдин).

«Это коммуно-фашистский мятеж!» (бывший премьер Е. Гайдар, почему-то постоянно чмокающий губами, как после сытного обеда).

«Справедливость, правда – это все библейские понятия. Их нет и не будет» (Председатель Совета Федерации В. Шумейко, шельмец, трех пядей во лбу, несмотря на это, делает глаза великого стратега).

«Президент должен проявить максимальную жестокость и твердость в подавлении!» (депутат с ультрасерьезной внешностью одержимого борца за истину. Кроме того, красивенький, как дама бальзаковского возраста, Г. Явлинский, поборник американской программы в экономике «500 дней», гарвардский мальчик, в сущности, политический кокет).

«Давите, давите, Виктор Степанович, времени нет. Уничтожайте их!» (губернатор Нижегородской области Б. Немцов, кудрявый девятиклассник с наглыми уличными глазами, голова, полная солнцем, реформами и солеными анекдотами, как то: «Машка, хочешь я тебе красный ваучер покажу?»)

«Решение атаковать было абсолютно верным… Если бы выдали мне автомат, то я бы пошел расстреливать его сам (председателя Верховного Совета Р. Хасбулатова)» (министр финансов Б. Федоров с бегающими от глубокомыслия глазками, оказавшийся устрашающе воинственным, почти добровольным автоматчиком, преданным до последнего вздоха свободе и демократии).

«Раздавите эту гадину!» (бездарный журналист с лицом разъяренного ребенка, лежащего в мокрых пеленках, депутат Ю. Черниченко, лидер мифического Союза фермеров).

«У меня приказ: „Ликвидировать всех, кто в форме!“ (начальник президентской охраны, лукавый и коварный генерал Коржаков, его требование после захвата парламента: расстрелять немногочисленных военных, перешедших на сторону Верховного Совета).

„Сообщение о ельцинском указе мы получили в Вашингтоне перед самым нашим отъездом. Первая мысль, которая посетила меня: наконец-то!“ (музыкант М. Ростропович, убогий дирижер, которого демократы возвели в ранг великого, смотреть на его асимметричную придворную физиономию неприлично)».

Андрею не надо было сейчас вдумываться в свои иронически-злые заметки, суть выявлялась в призывах и высказываниях оставшихся в Кремле победителей, кого должны были бы судить, а этого не дано было сделать народу. И, просматривая книжку, он наткнулся на строчки, поразившие его. Да это же беседа с покойным отцом Владимиром! Какой молодой и достойный был священник!

«Кто человека приведет в храм и убедит и научит молиться и ходить по заповедям Божьим, с того снимется сто грехов». (Я не понял, почему именно сто, но он не ответил, только улыбнулся умно.) Дальше на мой вопрос о толстовстве, о непротивлении он ответил: «Если я люблю врага своего – значит, молюсь за него, ибо его неотмоленный грех на всей церкви и на тебе тоже, разумеется, если это враг твой личный, но человек крещенный в православии, а не инородец и не враг христовой церкви. Но скажу вам греховный секрет: в Библии есть и такое евангельское изречение: „побороть враги своя под нози своя“. Отец Владимир погиб возле Дома Советов, был убит пулей снайпера с крыши американского посольства или с крыши гостиницы „Украина“ – там сидели спецназовцы „двойного гражданства“».

Из интервью с депутатом Котельниковым: «Мы вырвались из Белого дома, а вокруг был „омон“, прямо передо мной женщине пуля попала в грудь. Я вижу: у нее спина как-то колыхнулась, и вдруг начал набухать красный пузырь. Он лопнул, и в разные стороны полетели позвонки…»

В конце ноября, еще окончательно не оправившись от приступов головной боли (ребра беспокоили меньше), Андрей на своем «жигуленке», держась памятью за незабытый ночной путь, после долгих плутаний нашел в большом подмосковном поселке Садовую улицу, ту самую, куда на УАЗе привезли их: название улицы он запомнил, когда из подзаборной канавы выбрался в заросший тополями проулок и добрел до угла перекрестка.

Моросило, с низкого свинцового неба сыпалась мельчайшая водяная пыль, пахло печным дымом.

Странно было видеть в распахнутые ворота милиции горы бревен, кучи старой штукатурки с торчащими обломками дранки, клочками намокших обоев, ржавые водопроводные трубы, накрытые пленкой доски. Весь дворик, загроможденный

невывезенным мусором, строительным материалом, открытая настежь дверь зловещего особнячка, где помещалась милиция, рабочие в каскетках, выходившие и входившие в дом, скипидарный запах известки и опилок – все проясняло, что шел здесь капитальный ремонт, – и мгновенное разочарование корябнуло Андрея. Он вылез из машины, прошел во двор, узнал у пожилого рабочего в каскетке, что никакой милиции в «данном объекте» нет, объект является нежилым помещением и идет полная перестройка этого тараканьего голубятника, который купил какой-то продуктово-водочный магазин, а милиция находится «за углом, прямо и налево, на Тополином бульваре, первый этаж». Слушая рабочего, Андрей пристально смотрел на соседний дом – там в уборной он пил из водопроводного крана и никак не мог напиться, там смывал засохшую кровь с лица, – посмотрел на забор, где спасительно раздвинул доски и выпустил его человек в свитере. Он сказал через зубы: «Приятно вспомнить», – и сел в машину.

Милиция действительно располагалась на первом этаже блочного семиэтажного дома, напротив старого тополиного бульвара, по-ноябрьски сквозного, черного, уходящего верхушками в моросящее дымное небо. Было пусто вокруг. Блестел асфальт. Никто не выходил из подъезда. Новый УАЗ, украшенный голубыми полосами, и новая, отлакированная дождиком «шестерка» с внушительными сигналами стояли на асфальтированной площадке. Подъезд к милиции был хорошо виден Андрею со стороны бульвара. Здесь была хорошая позиция для наблюдения. Его мучило жестокое и неотступное чувство – увидеть и выследить кого-нибудь из тех, кто находился в тот день октября в милиции, того тучного широколицего капитана; белокурого, улыбчивого, голубоглазого лейтенанта Кустенко, опытными ударами боксера избивающего депутата и инспектора Серегина; да и восхитительно было бы взглянуть на личико того маленького, на высоких, почти женских каблуках, встопорщенного, колючего, словно еж, милиционера, полоумно прыгающего перед Андреем и норовившего рукояткой пистолета нанести удар в висок.

«Значит, тот дом за старым забором не был обычной милицией, а был адом и чистилищем…»

Что ж, ему смертельно было заказано войти в милицию – его могли узнать, в решительный момент надеть наручники, что профессионально умели делать тогда, в октябре. Главное было: с крайней осторожностью выследить до дома, в котором живет кто-либо из этих палачей, быстро, очень быстро подойти сзади, со всей силы повернуть за плечо, спросить: «Узнаешь меня?» Не важно, что он

ответит. Спросить еще: «Не ты ли убивал Серегина? Покажи руки, они у тебя в крови!» И тоже не важно, что он ответит. Сказать: «Это тебе, мразь, за предательство и октябрь!» И выстрелить из «вальтера» в упор, чтобы поражение было точным. После этого сесть в машину, не спеша выехать из поселка на окружную дорогу, поездить час-полтора и вернуться в Москву.

Минут тридцать он посидел в машине, не сводя глаз с дверей милиции. Несколько человек обыденной наружности вошли и немного спустя вышли, потом солидной раскачкой появился на крыльце незнакомый плотный офицер в плаще, в фуражке с высокой тульей, кинул кожаную папку в салон, втиснулся к рулю «шестерки», развернулся и уехал. В течение следующих двадцати минут милиция мнилась вымершей. Никто не выходил. Никто не входил. Заметные из милицейских окон одинокие «Жигули» Андрея, припаркованные к бульвару, могли уже вызвать подозрение. Тогда, подняв капот, он вылез из машины, принял вид, что копается в моторе, одновременно взглядывая из-за плеча на милицейские двери. Его машина в поле обозрения из окон, дождевая пыль, сырой сеткой липнущая к лицу, точно впаянная, дверь милиции – вся эта улица за бульваром вселяли в Андрея предостерегающую тревогу, и что-то подсказывало, что на первый раз достаточно разведки: запомнить подъезды и отъезды от милиции, удобное место для наблюдения. И Андрей вернулся в Москву, время от времени ощущая постороннюю тяжесть восьмизарядного «вальтера» во внутреннем кармане широкого и незастегнутого пиджака, скрывающего контуры пистолета.

После пяти поездок к новой милиции и наблюдения за подъездом он так и не увидел ни одного из тех, кто на всю жизнь запомнился ему в октябре девяносто третьего года. И Андрей, вконец уставший от постоянного нервного напряжения, измученный головными болями, понемногу начал отдаляться от того, что было его одержимой целью, и, мало-помалу приостыв, подчас чувствовал самоуничижительную гадливость к этому успокоению.

Глава вторая

Он вошел в комнату и увидел ее в кресле-качалке перед телевизором – заложив ногу за ногу, она грызла яблоко и сердито смотрела на экран. Поздний августовский закат угасал на стене теплым оранжевым пятном.

– С глаз долой, – вдруг сказала она возмущенно и выключила телевизор. – Бесстыдник какой! Сам, как бык, а поет про какую-то синеглазку и притворяется влюбленным голубком. Соблазнитель!

Он взглянул на нее с веселым любопытством.

– Вы беспощадны, Таня. Уничтожили певца, и что же? А он ведь заслуженный.

– Да пусть хоть перезаслуженный. Бык – и все!

Она, с беззаботным видом продолжая грызть яблоко, украдкой стала рассматривать Андрея из-под ресниц.

– А вы кто – князь Болконский, пришли жениться? На маленькой княгине? Просить моей руки?

– Разве, Таня, это возможно? Вы только-только школу окончили. Вот видите, Толстого вспомнили. Наверное, проходили по программе. Вам еще…

– Ничего не «еще»… Что это такое «еще»? Звучит как «щи», «каша», «простокваша»…

– Я хотел сказать: вы еще в институт не поступили.

– А может быть, я и не хочу. Почему вы решили? Пойду в продавцы парфюмерного магазина. Вы знаете, кто из греческих философов сказал: «Познай самого себя»?

Немного смущенный, Андрей сел на диван, чувствуя ее взгляд на своем лице – теперь она наблюдала его насмешливо.

– Кто сказал – не очень помню, – ответил он, настраивая себя на легковесный тон. – По-моему, Сократ. А возможно, и Аристотель.

Она хлопнула себя кулачком по колену.

– Ах вот, видите, университет кончили, а не помните. А я, представьте, стала познавать себя, думать, вспоминать и угадывать свою судьбу. И допознавалась до того, что все перевернулось в голове. Я почувствовала себя эгоисткой, развратной и гадкой. Противно на себя в зеркало смотреть. Какой-то птеродактиль!

– Вы почувствовали себя развратной и гадкой? Что такое случилось?

– А зачем вам это знать? Любопытной Варваре на рынке нос… и так далее…

– Я не любопытная Варвара. Просто вы, по-моему, все преувеличиваете.

– Нисколько! Если я все перескажу вам про себя, я обезоружусь. Разве не так? Вот вы смотрите на меня и думаете: какая хорошенькая девочка, миленькая, скромная… А стоит вам увидеть, что у меня в душе, вы сразу, конечно, обалдеете и сделаете вывод: дикобраз, попугаиха в мини-юбке.

Он пожал плечами.

– Ничего не понимаю, с какой целью вы на себя наговариваете.

Она перебила его:

– Оставьте, пожалуйста, красноречие про всякие непонимания. Я-то знаю, кто я. А вот вы знаете? Себя, себя знаете? Только искренне, как перед Страшным Судом…

– Знаю ли я? – Он запнулся и, не находя шутливый ответ, спросил вежливо: – Можно мне закурить, Таня?

– Да курите, Боже мой, сколько вам хочется. Меня это не касается. Так что же вы ушли от ответа? Смутились и сразу курить.

Она чуть-чуть покачивалась в кресле, сбоку глядела на него с выражением женщины, поставившей в затруднительное положение мужчину, и ее полные губы изгибались в победной улыбке.

Он закурил, поискал взглядом пепельницу, не нашел и бросил спичку в открытое окно, в которое ломились ветви уличных тополей, розовеющих на закатном солнце.

Она радостно ужаснулась.

– Не исключено, что ваша спичка упала кому-нибудь на лысую голову! Знаете, я однажды поливала вон тот цветок алоэ – видите? – а остаток воды выплеснула в окно. И тут внизу раздались ужасные вопли и ругательства, кто-то кричал, что не позволит выливать ночные горшки на головы честных людей, что разнесет наш дом в щепки, а я затаилась как мышь, и только ждала звонка в дверь. Вот видите, как небезопасно бывает бросать что-нибудь в окно.

Откидываясь затылком к спинке кресла, она закачалась быстрее, с тем же детским победным выражением, как будто все, что она говорила и делала, доставляло ей удовольствие.

– А впрочем, знаете, у меня иногда руки чешутся. Так и хочется иногда телевизор в окно выбросить, когда чепуху передают всякие прилизанные стильные мальчики. Он у меня дождется.

– Кто он?

– Ящик. Так и вылетит у меня вверх тормашками.

– Мда, Танечка, интересно.

– Что «мда»? Что вам интересно? Вы мне ответили: вы познали самого себя?

Андрей посмотрел на ее ноги, не закрытые короткой юбкой, увидел еле заметную тонкую царапинку на ее круглом нежном колене. Какое, должно быть, наслаждение поцеловать это колено – вот сесть перед ней на пол, обнять ее ноги… «Просто замечательно, – подумал он, поражаясь мысли, что в какую-то минуту не сдержится. – Я просто дурею. Надо держать себя в руках, милый…»

– О чем вы так странно задумались? У вас какое-то отсутствующее лицо, – услышал он ее смеющийся голос и мгновенно принял позу упредительного

внимания. – Не хотите отвечать – не надо. Сидите и курите. А я покачаюсь в кресле и посмотрю на вашу не очень модную прическу.

– Нет, почему же, – заторопился он. – Спрашивайте, я готов отвечать.

– Правду?

– Мм… конечно… да…

– Не очень искренне отвечаете, но ладно. Первый вопрос: вы эгоист? Себя очень любите?

– Н-не знаю. В общем… думаю, не очень. Нет, скорее всего – нет.

– Себя-а не лю-би-те? Не верю ни капельки! Чепушенция! От меня не скроетесь. Эгоист наверняка, как девяносто девять процентов мужского и женского населения земного шара.

– Таня, откуда вы знаете про эти девяносто девять процентов?

– Тот, кто познал самого себя, тот познал все человечество.

– И вы познали?

– Конечно.

– Это не заблуждение?

– И пусть так. Иначе ничего не интересно. Иначе – просто храп в конюшне.

Он удивился.

– Храп в конюшне? Чей храп? Лошадиный? При чем же это?

– Не имеет значения. – Она засмеялась, тряхнула волосами. – Впрочем, в детстве однажды я зашла вместе с отцом в колхозную конюшню, когда жили на даче, и

сразу увидела: конюх, кажется, дед Матвей, без всяких сомнений спал на сене и пускал такие рулады носом, что лошади шарахались от изгороди и ужасно вращали глазами. Никаких заблуждений и никаких золотых снов. Храп – и все.

– Да, это смешно, – согласился Андрей и спросил: – О каких заблуждениях вы говорите, Таня?

– О разных. О всяких там интересных вещах. Ну, например, вам хотелось бы быть банкиром, ездить в «мерседесе», обедать в роскошных ресторанах, летать на пляжи на какие-то там Багамские острова?

– Поверьте, из меня банкира не получится.

– А вы попробуйте.

Андрей почувствовал, что она, полудевочка, полуженщина, в общем неопытная, милая в своей наивности, ведет с ним какую-то игру, забавлявшую ее, а он, с охотой вступив в эту игру, смущенно и счастливо ощущал себя будто плывущим в солнечный, синий от огромного неба день посреди благолепного течения теплой реки, обволакивающей его колюче-сладким ознобом то ли от звука ее голоса, то ли от ее близкого взгляда темно-серых глаз, пробегающих с искрящейся насмешливостью по его, должно быть, глупому сейчас лицу.

– Что попробовать?

– А вы заблудитесь. Бросьте свою дурацкую писанину, свои скучные статьи и что-нибудь придумайте интересное. Ну, мало ли что можно придумать!

– К великому сожалению, бросить дурацкую писанину, как вы говорите, я, пожалуй, не смогу. Не хватит фантазии.

Таня, загадочно подрагивая ресницами, нарисовала пальцем в воздухе вензель и рядом с ним знак вопроса.

– Послушайте, вам надо сходить к прорицателю или к астрологу. Чтобы он разложил вашу судьбу по месяцам. И вдруг – какой-нибудь поворот, мелькнет жар-птица.

– Жар-птица? Интересно…

– Весной, в день своего рождения я была у одной гадалки… у одной прорицательницы, – заговорила Таня, раскачиваясь в поскрипывающем кресле. – Она долго меня рассматривала, потом поглядела в какой-то большой кристалл и говорит, представьте себе: «Я вижу красавицу в белом платье, которая входит в какой-то зал, а люди с удовольствием смотрят на ее наряд королевы».

Вот как! Спасибо ей за «красавицу», за комплимент, потому что такие, как я, веснушчатые королевы в счет не идут. Но она меня убедила, что это была я. Созвездия подсказывают мне поворот судьбы и счастье. Ах вот как? И я догадалась, что мне надо делать. Значит, театральное училище! Но я провалилась – не так прочитала монолог Екатерины из «Грозы». И знаете, Андрей, я не жалею. Просто не повезло! Не там искала королевское счастье. И я решила пойти на курсы манекенщиц. Вы слышали о знаменитом модельере Викторе Викторовиче Парусове? Что вы так посмотрели? Вам не нравится?

Андрей неловко заговорил:

– Да что вы? И что же – будете показывать новые фасоны? И вам это нравится? Ведь вас вместе с платьем будут разглядывать сотни людей как… живой манекен… как… не хочу договаривать, Таня…

– А вы договаривайте. Что это вы закашлялись? Будьте здоровы. Так договаривайте, не стесняйтесь.

Он наконец решился:

– Как… драгоценную безделушку.

Она с непритворным восторгом захлопала в ладоши.

– Просто изумительно! А теперь вы посмотрите на безделушку – плохо или хорошо?

И оттолкнулась от качалки, встала, взяла с края дивана небрежно брошенную там шелковую шаль с длинными голубоватыми кистями, напоминавшую что-то

пленительно старинное, театральное, плавным взмахом накинула шаль себе на плечи и, как бы укутываясь до подбородка, делая вид, что ей зябко, легчайшими шагами прошлась по комнате, чуть колеблясь, узко ставя каблук в каблук с невесомой гибкостью, и он удивился ее независимой, еле уловимой улыбке, ее движениям и незнакомой взрослости в повороте головы, когда она из-под ресниц взглянула на него, проходя мимо.

– Ну, как безделушка?

– Понятно, – пробормотал Андрей, овеянный смешанным запахом старого шелка и терпковатых духов, исходившим от шали, должно быть, не один год пролежавшей в шкафу, и спросил некстати: – Это бабушкина шаль?

– Бабушка была красавица. Из-за нее в Гражданскую войну два юнкера в Киеве дрались на дуэли. По сравнению с ней я дурнушка.

Она села на диван, продолжая кутаться в шаль, потом отбросила ее, вскинула голову с вызывающей смелостью.

– Значит, вам не понравилось? Дурнушка нарядилась в дорогую шаль? Веснушчатая каракатица в шелках?

– Танечка! – взмолился Андрей, почему-то боясь, что сейчас она может бесцеремонно выпроводить его или сама выйти из комнаты, и пошутил: – Я подам на вас в суд за клевету. Если бы все женщины были такими веснушчатыми, как вы, то все каракатицы сошли бы с ума от зависти. Я просто хотел сказать, что вам надо все-таки поступать в театральное училище, раз вы не хотите в какой-нибудь институт. Ведь то, о чем вы говорите, – не профессия. Потом… разве можно жить, как на витрине?

Таня закинула ноги на диван, одна туфля, видимо, жала ей, и она сбросила ее на пол.

– Вас это не шокирует? – спросила она, вроде досадуя на себя.

– Нет.

– Так вот, а ваша профессия – что это такое? Свет в окошке? Копаться во всяких там политических событиях, происшествиях, во всяких глупых склоках, сплетнях и мерзостях – можно сойти с ума и завизжать! Я в школе терпеть не могла всякие громкие слова!

– Нет, Танечка, я теперь не копаюсь в разных происшествиях и глупых склоках, – сказал Андрей. – Нашу газету закрыли по финансовым обстоятельствам, сотрудников отпустили в длительный отпуск. Двое уже с трудом устроились на телевидение. Некоторые собираются уехать в провинцию.

Таня соскользнула с дивана, наугад нашарила ногой туфлю, спросила быстро:

– А вы?

– Я? Меня приглашали в журнал «Мужчина и женщина» поработать у них по контракту. Недолго думал и раздумал.

– Жаль, – сказала она.

– Почему, Таня? Это же полупорнографическое издание. Нечто вроде русского «Плейбоя». Вкладывают деньги американцы.

– По-моему, это заманчиво, хотя и темный лес! А впрочем, конечно, ерунда! – поправила она себя. – Если Америка, то судя по фильмам, там только и делают, что убивают друг друга: пиф-паф, полицейские, сыщики, наркоманы… А что вы будете делать в этом своем отпуске? Искать работу?

– У меня есть немного денег – пока хватит.

Он обманывал ее, перед отпуском зарплату не выдавали три месяца, денег не было, и в последние дни он стал зарабатывать на своих стареньких «Жигулях», разъезжая по Москве, подвозя «голосующих». И всякий раз, получая деньги, испытывал отвратительное неудобство, словно бы участвовал в непотребном деле; порой от барственно кинутых ему бумажек бросало в испарину. Но успокаивался он тем, что все это временно, что если не мало-мальский заработок на машине, то придется постепенно продавать уникальную домашнюю библиотеку, связанную с мировой живописью и собранную дедом за

всю его жизнь. В библиотеке, впрочем, уже стали образовываться внешне незаметные пустоты: в дни унылого безденежья были за бесценок проданы букинистам монографии с репродукциями Босха, Брейгеля и Врубеля. В этом было начало разгрома наследственного богатства, тайным изъятием, похожим на воровство, о котором еще не догадывался дед Егор Александрович, вечно занятый в своей мастерской.

– Постойте-постойте, – вздохнула Таня и нахмурилась: – А разве ваш дедушка… Ведь он академик, наверное, получает хорошую пенсию…

– Дед любит гостеприимство, друзей, публику, остались привычки от советских времен, когда его картины и скульптуры покупали все музеи за огромные деньги. Теперь – другое. А вы сами понимаете, что на академическую пенсию деда… я не могу. Ведь я, – Андрей усмехнулся, – самостоятельный человек, имеющий профессию…

Таня перебила его:

– Поэтому вы не позволите себе жить в зависимости… и так далее, и так далее, и так далее… Гордость, самолюбие и прочее, и прочее. Правда?

Он вопросительно поглядел на нее.

– Я тоже бы не смогла. Да входите же! – звонко крикнула Таня, поворачивая голову на стук в дверь, волосы ее пшеничной струей шевельнулись на щеке. – Это ты, мама? Входи, пожалуйста! Никаких секретов!

– Разумеется, – отозвался за дверью грудной голос.

В комнату вошла невысокая женщина в брючном костюме, строгое лицо, серые, как у Тани, глаза, в меру подведенные тушью, таили в себе что-то замкнуто-властное, удерживающее излишние чувства, и это внушало Андрею быть в ее присутствии официальным, что вызывало смех у Тани, сказавшей ему однажды: «Как только появляется мама, вы делаете ужасно философское и виноватое лицо, будто трусите перед грозной учительницей. И будто хотите в свое оправдание заявить: „Я все-таки мыслю – значит, существую“. Или: „Человек – это звучит гордо“. Мама действительно преподает второстепенный английский язык, как сказал Набоков, но ее строгость – выбранная роль в домашнем театре,

как имеется своя роль у каждой женщины. Она хочет держать слишком увлекающегося папу в руках. И меня. Но это уже другое дело».

– Добрый день, Кира Владимировна. Простите, добрый вечер…

Андрей встал, сделал уважительный полукивок, и Таня не смогла скрыть улыбку.

– Здравствуйте, Андрей Сергеевич, вы давно у нас не были, – сказала ровным голосом Кира Владимировна и покосилась на улыбающуюся Таню с холодноватым недоумением. – Вы говорили о чем-то смешном?

– Да, да, да! – обрадовалась Таня. – Ты знаешь, мама, вот последний анекдот, который я слышала. Экзамены в институте. По коридору идет профессор по направлению к двери в аудиторию, навстречу ему студент, лодырь и лоботряс. Не доходя до дверей, профессор зверски чихает. И студент буквально кричит в надежде хоть троечку вымолить: «Будьте здоровы, господин профессор! Страшная эпидемия в Москве, не заразились ли, не дай Бог?» А профессор: «Не дождетесь, не дождетесь, молодой человек. Разрешите вашу зачетку. Двоечку заранее поставлю вам за неудачный подхалимаж».

– И что дальше? Это разве смешно? – дернула плечом Кира Владимировна. – Какой-то шалопай студент. Совсем уж глупый профессор. И первобытно нелепый разговор. Таня, не имей свойства запоминать современные пошлости, которые сочиняют на этих… как они… туковсках… тусовках.

И Кира Владимировна с многозначительным укором посмотрела на Андрея, точно он принес в дом «эту современную пошлость» и заразил Таню.

– Мамочка, дорогая, у тебя нет чувства юмора! – воскликнула Таня. – Анекдот на три с тремя минусами, но все же…

– Хорошо-хорошо. Пусть так. С пятью минусами, – снисходительно согласилась Кира Владимировна. – Но, кажется, уже сумерки, и пора зажечь свет, молодые люди.

Она включила свет, люстра засияла, вспыхнула в паркете, сумерки на улице налились темной синевой, с красноватыми кое-где квадратами окон.

– Так лучше для человечества, – сказала Кира Владимировна.

– Ты как Прометей, мама, – ответила живо Таня. – Спасибо за свет разума.

Кира Владимировна задернула штору на окне, сказала прежним голосом, без выражения:

– Прошу обедать, молодые люди. Я думаю, Андрей, что вы пообедать еще не успели.

– Да, правда, ура, пойдем обедать! Андрей, конечно, не обедал! И я тоже голодна, как беременная клопиха!

Таня соскочила с дивана и так потопала по паркету, вбивая ногу в туфлю, что Кира Владимировна прижмурилась, поднесла руки к ушам.

– Та-аня, что за крики? Где ты заимствовала странные выражения? «Беременная клопиха»? В нормальном языке что это значит?

– Мамочка, я могу и завизжать от радости! Я просто голодна!

– Завизжать? Что значат в твоем лексиконе все эти языковые нормы? – спросила Кира Владимировна в явном неудовольствии.

– Да ничего, мама, просто современные выражения! Вполне литературные. Я ведь начитанная девица. Пойдемте, пойдемте! – заторопила она Андрея, смеясь. – Чтобы жить, надо есть, чтобы есть, надо есть… нет, не так, ерунду наговорила! Чтобы есть, надо жить!

Едва перебарывая смех и одновременно стесненный официальной внешностью Киры Владимировны, ее прямой спиной, высокой, как бы надменной грудью и ее устало-строгим разговором с дочерью, Андрей предчувствовал, какая мука ожидала его за обедом под испытующе критическими взглядами Таниной матери, и отказался поспешно:

– Я совершенно сыт. Благодарю вас. Мне пора идти.

– Вы лжете, господин Демидов! – воскликнула с веселой трагичностью Таня, указывая пальцем в грудь Андрея. – Вы наверняка не ели с утра и тоже голодны, как… как…

– Не надо продолжать, – упредила Кира Владимировна с воспитанно-невыразительной едкостью. – Про клопа я уже слышала. Твое великолепное сравнение – шедевр словесности. Хоть в словарь…

– До свиданья, извините, я ухожу, – повторил Андрей, понимая, что если он допустит слабость и согласится, то придется чинно, с напряжением сидеть за столом в обществе не очень расположенной к нему Киры Владимировны, глотать без аппетита какой-нибудь вегетарианский суп, и главное, – пребывать в мучительном молчании, не решаясь вести с Таней легковесный разговор, который прохладным ветерком снимал тяжесть с души, давившую его в последние дни.

Таня проводила до дверей передней и здесь, заложив руки за спину, прислонилась спиной к вешалке и улыбнулась разочарованной улыбкой:

– Вы – несовременный парень. Хотя – нет. Вот у вас шрам на щеке. Это, наверно, в драке какой-нибудь. Правильно? Из-за роковой девицы в джинсах. Да или нет?

– Нет, – сказал Андрей. – Это родимое пятно. Но почему я – несовременный?

– Вот вы меня обманываете, это не родимое пятно, а шрам. Как будто дрались на дуэли. А несовременный молодой человек вы потому, что другой на вашем месте рассыпался бы в любезностях, поцеловал бы ручку моей родительнице, нагло бы согласился: «благодарю, я очень тронут, я с великим удовольствием, я так растроган вашим гостеприимством, что слов нет…»

– Вы хорошо изображаете демократическую мартышку, – сказал Андрей, пожимая ей руку. – Таня, я позвоню вам, если разрешите.

Она в ответ весело изобразила некую даму изящным наклоном своей прелестной золотистой головы: – В любой час дня и суток.

Он вышел в теплый августовский вечер, еще мягко овеянный ее взглядом, ее легкой улыбкой, голосом, который помогал ей преображаться в игре воображения, должно быть, преломлявшей ее жизнь, как через волшебное стекло.

«В любой час дня и суток», – вспомнил он Танину фразу, сказанную с кротостью и покорным намеком, как будто между ними что-то было тайное, любовное, что он и представить не мог.

Они встречались в четвертый раз, но все между ними оставалось так, точно он впервые видел ее.

«Прихожу к ней и превращаюсь в черт знает кого. Но ведь я здоровый парень, совсем уж не целомудренный, с накачанными бицепсами, могу ругаться матом, дать в морду, а рядом с ней превращаюсь в вату…»

После дневного дождя влажно пахло парным асфальтом. Тверской бульвар был наискось расчерчен лимонно-розовыми, дымящимися в листве, радиусами, и было пустынно, тихо на аллеях, как бывает вечером в конце лета. Но уже тянуло откуда-то сладко-тленным запахом близкой осени. Он перешел безлюдный бульвар, на другой стороне, уже освещенной фонарями, нашел свои потрепанные «Жигули», купленные дедом в середине восьмидесятых годов. Он достал ключи, обошел вокруг машину, пощелкал ногтем по металлу: «Ну и заляпали тебя, старушенция», – и, миновав лужу, открыл дверцу, боком залез на сиденье. «Какая милая, наивная, непонятная, будто не от мира сего…» – растроганно подумал он о последних словах Тани и засмеялся, откинувшись затылком на подголовник.

Было грустное чувство успокоения и уюта: он сидел в старенькой машине, в этой крошечной однокомнатной квартире, и на секунду показалось: вот оно, счастье, вот она, свобода, вот оно, состояние, когда он принадлежал самому себе: здесь он мог, дурачась, скорчить зверскую рожу, глядя в зеркальце, неестественно рявкнуть, сказать своему двойнику: «Ах, черт тебя побери, дурака этакого! Ты, осел родной, с ума сходишь?»

Некоторое время он сидел, не запуская мотор, расслабленный покоем, одиночеством, – никуда не хотелось ехать, подхватывать «голосующих», видеть чужие лица, вдыхать запах чужой одежды, чужих духов, затем с притворным

равнодушием засовывать в карман чужую купюру. И всякий раз он проклинал себя непотребными словами за эти нечистоплотно прилипающие к рукам деньги, но брал их. Выхода не было. Работа в редакции приостановилась, ходили слухи, что еженедельник купил немец, владелец книжных магазинов в Мюнхене. Главный редактор вместе с членами коллегии запирался в кабинете, никого не принимал, секретарша страдальчески носила в кабинет бутылки пепси-колы, вся редакция притихла, опустела, как перед бедствием, молчали телефоны, везде царило уныние, безлюдье, лишь два-три человека сидели в тяжком безделье за столами, от нечего делать вяло копались в папках, позевывая проглядывали никому не нужные «загоны» материалов. Безвластие и отупение расползались в сиротских коридорах умершей газеты. Это было настолько неутешительно, что после объявления бессрочного отпуска Андрей перестал заезжать в еженедельник, где проработал три года. Сначала он изредка заходил в отдел ради общения с коллегами, еще не потерявшими надежду остаться в возрожденной газете. Потом пустопорожняя болтовня утратила маломальский смысл, и по вечерам стали встречаться на квартирах. Но такие встречи, безалаберные, шумные, злые, сопровождались невоздержанным питьем, громкими тостами вперемежку с бранью укороченной распохабленной гласности, хмельным возбуждением, а утром все было гнусно, постыло, раскалывалась голова, и, по совету деда, отлеживаясь в горячей ванне, он глядел в потолок на голубизну запотевшего кафеля, отчаянно ругал себя и думал: «Ослина и глупец! Кто заставлял тебя пить вчера? Кому-то хотел доказать что-то? Слава Богу, что не поехал на какую-то квартиру, куда-то к девицам».

В этом состоянии самоказни, самоуничижения он вспоминал, что ведь у него в Москве есть знакомые из другого мира, ничем не похожие на его газетных коллег. Это было семейство Ромашиных: раз вместе с дедом он был у них в гостях, а потом в осенний день рядом с внучкой уже покойного друга деда, девочкой лет пятнадцати, стоял на кладбище и видел, как слезинки скапливались на кончиках ее ресниц, и она смаргивала их, глядя на край могилы, усыпанной веточками елок. Затем он встретил ее года через два в конце зимы, в снегопад, на Кузнецком мосту. Он выходил из книжного магазина и на тротуаре едва не столкнулся с ней. Она была в пальто с полунадвинутым на пшеничные волосы капюшоном, он заметил опушенные снегом брови, вопросительный блеск глаз из-под меховой оторочки. Нет, он не узнал ее, эту «сероглазую прелестницу», как подумал он тогда, узнала она – смело остановилась перед ним, с легкой улыбкой рассматривая его: «Вы – Андрей, правда? Вы приходили к нам в гости, а последний раз мы виделись на кладбище». Он не смог вразумительно ответить ей, лишь кивнул, поражаясь

знакомой незнакомке и тому, что от той школьницы, которую он встречал в доме покойного товарища деда, ничего не осталось, кроме веснушек. Это была другая Таня, показавшаяся чересчур взрослой в этой шубке с капюшоном и высоких сапожках. Оба они стояли посреди тротуара в белом водопаде снега, холодно и мягко щекотавшем лица, стояли, мешая прохожим, улыбаясь друг другу. И тогда он осторожно взял ее под руку, повел вниз к стоянке машин, чувствуя, как она своими сапожками, будто по жердочке, переступает рядом с ним проталины на тротуаре, задевая его плащ краем пальто. Он начал говорить первую пришедшую в голову чепуху, о том, что вот в марте ни с того ни с сего повалил снегопад, как в январе, а она прервала его насмешливо-весело: «Перестаньте говорить о погоде. Лучше приезжайте к нам, если вам захочется».

После встречи на Кузнецком он иногда проезжал мимо ее дома, но очертя голову зайти не решался, не находил ни серьезного повода, ни причины: мимолетное приглашение могло быть лишь словами вежливости, преодолением неловкости между когда-то знакомыми мальчиком и девочкой.

И все же летом он со смелостью знакомого решился дважды (выдерживая перерывы) заехать к Тане и каждый раз уезжал от нее несколько растерянный встречей с «девочкой не от мира сего».

Глава третья

Уже во дворе он увидел – на восьмом этаже четыре окна в мастерской деда ярко освещены, празднично горели над верхушками тополей, и подумал: у хлебосольного Егора Александровича Демидова гости, возможно, какой-то домашний прием; Андрей постоял у машины, раздумывая; не было желания встречаться с незнакомыми людьми, принимать участие в набивших оскомину разговорах о соцреализме, о современном затихшем русском искусстве и, конечно, о постмодернизме, вызывавшем раздражение.

Выйдя из лифта, он сразу же увидел настежь раскрытые двери в мастерскую, обильный свет ламп, сигаретный дым, ползущий на лестничную площадку, толпу гостей в мастерской; обдало смешанным шумом неразборчивых голосов, как бывает в ресторане, густым хохотом Егора Александровича вместе с рассыпчатым смешком известного пейзажиста Василия Ильича Караваева, друга

деда, пьющего мало, но сегодня явно «позволившего себе». Андрей хотел было незаметно пройти мимо мастерской к дверям квартиры, которая была на той же площадке, но в это время из мастерской оживленно вышли Василий Ильич, худенький, веселенький до нежной розовости лица, отчего поредевшая седина его казалась серебристо-снежной, и дед – русобородый гигант, академик живописи и монументалист, хвастливый силач, как называл его Андрей, для разминки в своей мастерской играющий по утрам гантелями, как мячиками, носивший на манер двадцатых годов то ли бархатную, то ли вельветовую блузу, распахнутую на бычьей шее, к которой в редких случаях прикасался галстук. Оба – и Василий Ильич и Егор Александрович – держали в руках рюмки.

– Я и говорю ему: физиономия чиновничества в искусстве, извините, не внушает доверия, – гремел Егор Александрович и, фыркая крупным носом, хохотал. – Борьбой с талантами вы защищаете легион бездарностей! Поэтому вся ваша критика моего Радищева – удушающая искренность, чиновничий всхлип спросонок. Шедевр – это благородная простота и спокойное величие. А всякий образец новых веяний надевает на талант наручники! Бессмертие – аплодисменты потомков, а не ваши жидкие рукоплескания! О какой свободе критики вы говорите? Ваша свобода слова – свобода плевка! Русское искусство заплевали!

– Ах, Егор, Егор, так и сказал? – восхищенно воскликнул Василий Ильич и, смеясь, чокнулся с дедом. – Хулиган! Грубиян! Впрочем, верно: почти вся современная критика – цепь казней русских талантов. Но представь – ей кричат «браво» лощеные субъекты из нашей интеллигенции!

– Их «браво», Васенька, – эхо глупости и невежества. О чем тут можно говорить? А в общем – критика стала либо наемным убийцей, либо продавцом фимиама, Вася, либо злой проституткой! А вот и наш журналист! Прошу любить и жаловать! Мой родной внук! – увидев Андрея, вскричал Егор Александрович и даже радостно раздвинул руки. – Да, впрочем, вы хорошо знакомы. И не один год.

– Малость есть, малость есть. Читали кое-что.

– Да-с, мой внук! Хотя и журналист! Но – единственный и любимый! Я давно тебя не видел, оказывается, Андрюшка!

– Столько же, сколько и я тебя. С утра.

– Верно. Все равно – здравствуй!

И Егор Александрович в избытке силы сжал руку Андрея, ощутившего бугорки мозолей на его твердой, как железо, ладони. В припухших его глазах вдруг заискрились ожигающие огонечки, он полнозвучно произнес:

– О, пресса! Исчезает искусство, и его место займет пресса. Что-то в этом роде пророчил Достоевский! И будем ходить под современным лозунгом: пусть погибнет весь мир, но восторжествует пресса! А, Андрюша? А ну-ка, зайди в мастерскую и налей рюмку, а то физиономия скучная!

Андрей сказал:

– Неужели мой приход спровоцировал разговор о прессе?

– Дорогой внук! Всех газетчиков, кроме тебя, как исключение, и всех дебилов-критиков надо бы соединить одной веревочкой и как слепых, взбесившихся щенков привязать к штанам перестройщика академика Яковлева, чтобы знали, где ногу задирать и автографы ставить! Придумали, радетели наши, умственную позу завоевателей мысли! И что случилось? Политическая балаганщина! Идиотизация духа! Напялили вместо чепчиков на плешивые головки демократические нимбы и изображают адвокатов русского народа! В каждой статье: Россия, Русь, возрождение, демократия. Да только русскостью и не пахнет! Ароматы сточной канавы – пожалуйста! Реформы, гайдаризация, ваучеризация, ельцинизация, американизация! Готов увизжаться от восторга! А модернопупы-демократы стали фаллосы рисовать вместо человеческих лиц, негодяи! И авангардно суют пакости под нос ошарашенной публике, а та, бедная, обалдевает от новаторства!

По-медвежьи рыкающий бас деда нестеснительной своей грубостью заглушил говор гостей в мастерской, и пчелиное гудение голосов немного попритихло, на него стали оглядываться, одни неодобрительно, другие, ухмыляясь. Василий Ильич, с удовольствием слушая сильные выражения Егора Александровича, в то же время встревоженный молчаливым неодобрением некоторой части гостей, постарался смягчить его высказывания:

– Егорушка, ты очень уж… Ты шокируешь как-то…

– Кого? Критиков? Демократов? Пошатнул величие дураков? Экая неделикатность! Их вряд ли так пошатнешь! Восхитительно, Вася, тогда разреши сказать: душевно целую ручки и попочку всем пакостникам холстов! Доволен?

– Не греми в барабаны, Егорушка. Возможно, многим просто не дано воспринимать красоту. Их интересуют не чудеса земли, а последние крики Европы. Бог с ними! Какое тебе дело до чужого пищеварения?

– Это не пищеварение, а в китайском обычае натуральное удобрение, размазанное на холсте. Добавлю: а для почтенных интеллектуалов – бином Ньютона, на который надо растараканивать глаза и делать умный вид! – Егор Александрович раскатисто захохотал. – Золотари и шарлатаны! А вот, как исключение, мой внук: не пикассист, не критикан великого реализма, не попист, как вся сопливая молодежь, прошу пардона за обобщение… Правда, тут есть апологет попизма, лысак от лишнего ума, энергичный господин прискакал в мастерскую вслед за иностранцем с иностранцем! Всякой твари по паре!

Он через плечо ткнул большим пальцем в гущу гостей, которые группами стояли, ходили возле картин, брали с деревянных столов рюмки с водкой, бокалы с вином и, переговариваясь, потягивая из бокалов, споря, механически жевали бутерброды.

– Ты превратил меня в ангела, дедушка, смотри, начну петь псалмы, – сказал Андрей, задетый выражением «сопливая молодежь». – А кто этот господин – художник, критик?

– Данный господин – из особей, подкладывающих в чужую постель скорпионов. Он как-то бывал у меня. Что-то покупал. А вот сейчас мы его увидим в упор. Васенька, друг мой любезный, водка, как видишь, кончилась. – Егор Александрович с огорчением потряс пустую рюмку в крепких пальцах. – Ты, друг мой, за мной не успеваешь. А мы еще с тобой должны выглядеть боевыми орлами! Птицами какаду, которая, знаешь… и так далее…

И он растопырил мощные локти, изображая размах крыльев, вызывая у Василия Ильича стеснение этой открытой самоиронией друга, которого, казалось,

невозможно было смутить ничем.

– Пошли к столу, динозавр, – сказал ласково Василий Ильич. – Но ты не очень-то своих гостей подавляй. А то разбегутся, к чертовой перечнице, ни одной картины не купят.

Егор Александрович фыркнул.

– А ты надеешься, кто-нибудь серьезно развернет мошну? Вот тот иностранец в клетчатом? Да он тебя засыплет улыбками, олрайтами и океями, но в штаны напустит, а кошелек не расстегнет. Ему кривой фиолетовый фаллос в стиле суперавангарда на стенку повесить надо! За свои картины я беру дорого, Вася. А нуворишки, которые тут вертятся, ни пейзаж, ни авангард не отличат от бюста козла, бумажками шуршать не будут. Вот водку они умеют пить талантливо.

Была обычная теснота вокруг картин и столов с закусками, пахло сухими холстами, водкой, едой, одеколоном (должно быть, от коротко постриженных юных людей в вечерних костюмах с бабочками на чистейших манишках); трое неряшливо одетых бородатых личностей, по виду непроцветающих живописцев, прожевывая бутерброды, окружали длинного человека с прозрачным, как папиросная бумага, острым лицом, с острыми косыми височками, фотоаппарат висел на ремешке через его плечо. Бесцветными холодноватыми глазами он вглядывался в картину, не слушая багрового, как свежекопченый окорок, лысого круглого господина без шеи, известного скупщика картин искусствоведа Пескова, взбудораженно сжимающего сарделькообразными пальцами локоть приличного молодого человека, соломенные волосы которого свисали вдоль стыдливо пунцовых щек, придавая его облику нечто целомудренное. Он же силился придать юношескому своему лицу глубокомысленное выражение, но это плохо удавалось ему – при каждом сжатии толстых пальцев Пескова он незащищенно передергивал плечом.

– У вас в Союзе художников зачахли в архивной пыли, отстали на сто лет! – страстно говорил Песков, и обширная лысина его все более багровела. – Заполучаете иностранцев! – Он мотнул головой на остролицего человека с фотоаппаратом. – И возите по мастерским академиков! Хотите сбыть залежалый товар! Так? Нет? И тыкаете лбом в живопись вчерашнего дня! В уже съеденную яичницу! Спасибо! Наелись! А Москва полна молодых искрометных талантов, новых течений, новых невиданных форм! Москва стала Меккой искусства! У нас родились свои Пикассо, свои Дали, новые гении, которые затмили… Да, да, да.

Не таланты, а гении! Не понимаю, не возьму в толк: вы, господа, в каком веке живете? В московских мансардах и подвалах творится мировое! Планетарные шедевры! Демидов, Демидов, что Демидов? Рафаэль? Кандинский? Шагал?

И он закосил налитыми лиловой кровью глазами в сторону Демидова, который вместе с Василием Ильичом и Андреем подходил к закусочному столу. Здесь Демидов через головы стоящих подхватил со стола бутылку, чистую рюмку, сунул ее Андрею, мигнул: «Выходит, выпьем „Столичной“ на троих!» – и разлил водку, после чего глянул в направлении Пескова с поощрением.

– Продолжайте-продолжайте, маэстро. Я вас так же с наслаждением слушаю, как скрипочку Ростроповича.

– Виолончель, – горловым шепотом поправил кто-то из бородатых живописцев.

– Ась? – наставил ухо к бородатому Егор Александрович. – Виолончель, контрабас, скрипочка, барабан в руках надутой бездарности – один черт! Так продолжайте-продолжайте, милый Исидор Львович, насчет архивной пыли и авангарда. Вкручивайте мозги иностранцу, он ведь русский язык понимает. Валяйте! Вы хотели сказать, что реализм – загнанный осел, откинул копыта, лежит в канаве, мордой в дерьме и икать не способен? Ась?

Песков, нацеленный к отпору, оскорбленно задвигал вросшей в плечи шеей, отчего электрический свет заскользил по его зеркально-свекольной голове, напряг жирные складки на том месте, где должна быть шея, голос его утончился:

– Я пра-ашу!.. Ведите себя достойно, Егор Александрович! Вы походя оскорбили и великого музыканта, и меня, я пра-ашу, я пра-ашу не давать волю русской грубости в присутствии иностранного гостя! Не показывайте свою нецивилизованность, не-е кр-расиво, не интеллиген-тно! Не устраивайте спэ-эктакль!..

– Чихать я хотел, – сказал Егор Александрович невыносимо нежно.

– Чихать? На что чихать?

– Чихать я хотел… на вашу лысину в присутствии иностранца, – сказал с тою же нежной приятностью Егор Александрович и, выпив водку, вновь налил рюмку, чокнулся со сдерживающим смех Василием Ильичом.

– Давай, Вася, выпьем за здоровье Исидора Львовича! Я испытываю к нему симпатию, что бы ни было! Он не со всем плохой малый!

– Как вы смеете? – крикнул Песков и вздернулся на носках, чтобы быть выше ростом. – Что вы себе позволяете? Возмутительно!.. Я лично вами, господин академик, был приглашен, как и все – надо полагать!..

– Конечно, сущая правда, – закивал бородой Егор Александрович. – Вы позвонили, и я разрешил вам прийти, как интеллектуалу, так сказать, известному искусствоведу. Однако я весьма огорчен, что вы разочарованы. Вы, наверное, предполагали, что я вытащу из запасника этакие заковыристые штучки. Но, видите ли, в эти либеральные годы я не увлекся авангардом. Абстракционизм – искусство лентяев, а я рабочая лошадь. Производить пустой шум как-то все было недосуг. Погряз в пыльном реализме. Ушел в жанр, в портретики, в пейзажики, в мотивчики. В скульптуру, наконец. Трюизмы и полная чепуха. Извините уж старого старикашку за нафталинный консерватизм.

«Как всегда, бесстрашно ерничает, – подумал Андрей. – Что-то они оба, и дед и Василий Ильич, очень веселятся. Впрочем, дед не изменяет своей роли. Ему наплевать на все, что о нем подумают».

– Егор Александрович, вы – выдающийся мастер, – спотыкающимся голосом выговорил молодой человек со стыдливыми пунцовыми щеками. – Вы замечательный колорист, и я привез к вам мистера Хейта, когда узнал, что вы показываете сегодня. С мистером Хейтом мы были сегодня у Глазунова…

– Ай-яй, другой коленкор, – опечаленно покачал головой Василий Ильич. – Художник Демидов отдален от почтенного господина Глазунова на миллионы световых лет. Надеюсь, Игорь Григорьевич, он показал вам рекламный фильм о себе?

– Да, да! А вчера были у Шилова… Александра Максовича.

– Вот это – живописец, слава Господи, – одобрил Василий Ильич.

– Мистер Хейт купил у Шилова две работы и, как вы знаете, намерен у вас…

– Как они ошибаются, эти иностранцы, – простонал Песков, закатывая глаза. – Какой примитивный заокеанский вкус! Они теряют разум в России!

– Верно! Не то, Игорь Григорьевич, смотрит ваш мистер, – зарокотал Егор Александрович, показывая рюмкой на картину, которую рассматривал иностранец в обществе бородатых живописцев с нетрезвыми физиономиями. – Тащите его от «Баррикады» вон к той стене. Там портреты прекрасных женщин, пейзажи и прочие красоты.

Мистер Хейт, остекленело глядевший на картину среди общего жужжания голосов, движения, звона рюмок, окруженный, как остров, бородатыми живописцами, неизвестно почему ждавшими, как выразит американец отношение к полотну, услышал фразу Демидова и оборотил к нему узкое, напоминающее лезвие, лицо, в бесцветных глазах промелькнуло подобие улыбки.

– О, нет, – сказал он с акцентом. – Пейзаж будем смотреть… потом.

– Интересно бы знать, мистер Хейт, что вас пленило в такой мрачной картине? Грязная мостовая, баррикада, убитые, кровь… Кому это нужно? – с внушительной корректностью заговорил Песков. – По-моему, от нее несет поверхностной тенденцией. Где тайна? Где мысль? Это даже хуже, чем Репин.

– Отменно сказано! – круто крякнул Егор Александрович. – Так его, маленького, чтоб другим не повадно было. По попе ничтожного Илью Ефимовича, по попе! Здравомыслие и отменный пир вкуса! Виват, Песков!

Игорь Григорьевич потупился, проговорил негромко:

– Как вам не стыдно, господин Песков? Репин – великий гений, а вы…

– Жар, – заметил сочувственно Егор Александрович и, словно бы измеряя температуру, приложил широченную ладонь к потной лысине Пескова. – Диспепсия. Бред. Непроизвольное хождение под себя. С детства не просился на горшочек! К врачу! Немедленно! Сию минуту! Господа и друзья! – поднял он

густой голос, озирая мастерскую. – Среди вас нет врача? Фельдшера? Ветеринара сюда! Господину Пескову плохо!

– Пус-стите, варвар! Пу-пустите! У вас корявая ладонь! Пустите, хулиган! – взвизгнул Песков, неуклюже выныривая из-под руки Егора Александровича, мотая головой, будто лошадь, укушенная оводом, его налитые кровью глаза ненавистно выкатились. – Вы… Вы еще пожалеете, вы еще раскаетесь! Кто вам дал право неуважительно обращаться со мной? Вы – не художник! Вы – дворник! Вы – некультурный человек!

Егор Александрович с медвежьей учтивостью, изображающей японский этикет, склонился к Пескову.

– Где ваша рюмка? Не хотите ли выпить за примирение и договор согласия? К чему призывают наши мудрые политики? Процедура следующая. Я как можно дальше посылаю вас с вашим авангардом. А вы меня – с моим пыльным реализмом. После чего стукаемся попой о попу и расходимся в разные стороны. При одном условии – чтобы я вас больше не обонял в своем доме. Здесь не должно попахивать атмосферой торгашества. Так вот, у вас ножки есть? Есть? Поэтому идите от греха подальше. И вы, конечно, знаете куда. Идите, идите и идите. Пока в присутствии иностранца я не попробовал носком ботинка прочность вашего тыла.

– Вы пьяны! Безобразие! Вертеп какой-то! Хулиганство! Василий Ильич, угомоните вашего приятеля! Что за балаган вы устроили? Как это называть? Вы еще пожалеете! Вы – раскаетесь!..

С расширенными ноздрями Песков вращал головой в разные стороны, видимо, в поиске защиты и сочувствия, однако лишь кое-кто мельком взглядывал на него, делая непричастное лицо, незнакомые юные люди с аристократическими бабочками деликатно притворялись, что наблюдают товарищескую шутку в среде художников, но стоявшие вокруг иностранца трое нетрезвых бородачей откровенно ржали, скашиваясь на мистера Хейта, который щелкал фотоаппаратом, отходя и подходя к картине. Андрей не испытывал расположения к художнику Пескову, имевшему деловые связи с иностранными посольствами, как было известно, занимавшемуся перепродажей картин, что спасало живописцев в бедственном состоянии и одновременно угнетало зависимостью от его благоволения. Но бесцеремонность деда создавала неловкость, его желание не держаться хорошего тона (что он умел делать)

рождало вокруг него и приверженцев, и тайных недругов среди коллег. Вместе с тем завистливые собратья по профессии, боясь грубовато-острого язычка академика, объясняли независимость его избалованностью многолетней славой и прошлым денежным благополучием, превращенным, однако, в пыль гайдаровскими реформами. Он никогда не относился к чистоплюям в искусстве, и получая частные заказы, не отвергал их, великолепно ваял надгробные дорогие памятники, не считая это побочным заработком. Василий Ильич, бескорыстно почитающий талант Демидова, упоенно посмеивался над крепкой фразеологией друга и вместе с тем любил возразить, безобидно называя его «бульдозером в споре». И сейчас он с укоризной сделал попытку снизить злоречивую отраву в словах Демидова:

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/yuriy-bondarev/bermudskiy-treugolnik-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити